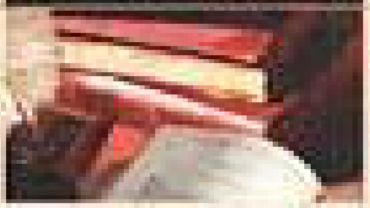
ЛИТЕРАТУРА ВЕЛИКИЕ ИМЕНА



Макс Брод

ФРАНЦ КАФКА

Узник абсолюта

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

М.Брод, биограф и друг Франца Кафки, ярко и всеобъемлюще воссоздал трудный жизненный путь автора всемирно известных «Замка», «Процесса», «Америки». Комплексы нервного ребенка, завидовавшего своему отцу, мучительные раздумья о судьбе соотечественников на перекрестке еврейской, немецкой и славянской культур некогда могучей имперской Австрии, подробности частной жизни литературного гения, портреты кумиров и противников, связь размышлений литературного гения с теориями Фрейда – эти и многие другие подробности жизни и творчества Франца Кафки нашли отражение в многогранном труде Макса Брода.

- Макс Брод
  - Глава 1
  - Глава 2
  - Глава 3
  - Глава 4
  - Глава 5
  - Глава 6
  - Глава 7
  - Глава 8
  - Приложения
    - Хронологическая таблица
    - Резюме (автобиография Кафки)
    - Некоторые замечания о «Замке» Кафки
    - Рудольф Фукс
    - Дора Геррит[41]
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13

- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41

Макс Брод
Франц Кафка. Узник абсолюта

Не отчаивайтесь, даже если действительность толкает вас к этому. Даже тогда, когда кажется, что все потеряно, к вам могут прийти новые силы, и это будет означать, что вы вновь ожили.

Радость сама по себе преходяща. Но счастье от возможности сделать мир чище и правдивее – неизменно.

Дождь льет стеной. Встаньте лицом к льющимся струям, позвольте стальным потокам хлестать вас, окунитесь в воду, которая стремится унести вас с собой, но в то же время держитесь крепко, стойте прямо и ждите, что внезапно засияет Солнце, и будет оно сиять вечно.

Из дневников Франца Кафки

Глава 1
Родители и детство

Франц Кафка, сын Германа и Юлии Кафки, родился в Праге 3 июля 1883 г. Фамилия Кафка – чешского происхождения, и было бы правильнее писать ее «Кавка», что буквально означает «галка». Эта птица с большой головой и красивым хвостом украшала служебные конверты фирмы Германа Кафки, в которых Франц в давние времена отправлял мне письма.

Фамилия Кафка не является редкой среди евреев, приехавших из Чехии, живших в те времена, когда император Иосиф II приказал провести перепись еврейского населения. Это, однако, не говорило ни о чьих политических и национальных симпатиях. Отец Франца, по правде говоря, имел определенные политические взгляды, хотя и не ярко выраженные, – он симпатизировал противостоянию чешских партий старой Австрии, о чем свидетельствуют документы его родного города.

Но Франц посещал только немецкие школы, воспитывался как немец и лишь гораздо позже, движимый собственными побуждениями, досконально изучил Чехию и чешскую литературу, достигнув ее глубокого понимания, разумеется, в тесном соприкосновении с германской культурой.

Франц ходил в немецкую школу и после приобщения к чешской культуре. На него оказало сильное влияние еврейское окружение. У него был троюродный брат, которого Франц боготворил за его замечательную энергию и организаторские способности. Его троюродный брат был лидером в немецких либеральных кругах со студенческих времен и до той поры, когда он стал членом чешского парламента. Это был профессор Бруно Кафка, который, несмотря на то что рано умер, прожил плодотворную жизнь и проявил себя критиком, законодателем, политиком, создал научные труды в области юриспруденции, издал посмертные труды Краснопольского. Отец Франца и Бруно были двоюродными братьями.

Вот что писал Кафка о своих родных в дневнике: «По-еврейски меня зовут Амшель, так же как моего прадеда с материнской стороны. Он, как вспоминала моя мать, которой было шесть лет, когда его не стало, был очень благочестивым и образованным человеком с большой белой бородой. Она вспоминала, как стояла возле покойного и просила у него прощения за то дурное, которое она могла ему причинить. Она вспоминала, как много книг у ее деда и как вдоль стен стояли

книжные полки. Он каждый день купался в реке, даже зимой, делая во льду проруби. Мать моей матери (моя бабушка) умерла в молодом возрасте от тифа. После того как она умерла, ее мать (моя прабабушка) впала в прострацию, отказалась принимать пищу и ни с кем не разговаривала. Однажды, через год после смерти дочери, моя прабабушка вышла на прогулку и не вернулась. Ее тело вытащили из Эльбы. Прадед моей матери был еще более ученым, чем мой прадед, и пользовался равным уважением среди христиан и евреев. Его благочестие было столь высоко, что с ним произошло чудо. Когда был пожар, огонь не тронул его дом, хотя остальные дома сгорели. У него было четыре сына. Один из них обратился в христианство и стал врачом. Все они, за исключением моего деда по материнской линии, умерли молодыми. У него был сын, которого моя мать называла «сумасшедшим дядей Натаном», и дочь, которая была конечно же моей бабушкой по матери».

Что касается матери Франца, с которой я часто разговаривал до ее кончины в 1934 г. (она пережила своего сына на десять лет), она была тихой, обаятельной и очень умной, хотя и нельзя сказать, что мудрой женщиной, о чем я могу привести некоторые дополнительные сведения. По ее рассказам, род Кафки со стороны ее отца происходил из Воссека, который находился недалеко от Страконицы (Южная Богемия). Герман Кафка был сыном мясника. Юность Германа была трудной. Очевидно, его трудолюбие и выносливость были безграничны. Остальные представители его рода – три брата и две сестры – были, по словам г-жи Кафка, матери Франца, «великанами». Всю свою жизнь Франц был в тени своего могучего и необычайно представительного, высокого и широкоплечего отца, который в конце своей удачливой и беспокойной жизни был окружен большой семьей, имел много детей и племянников и испытывал гордость патриарха. После продажи магазина оптовой торговли на Старой площади он приобрел ряд квартир в центре Праги. Фирма отца Кафки была создана ценой огромных жертв и усилий. Благодаря этому Герман Кафка смог достичь положения в обществе и стал представителем обеспеченного среднего класса. Трудолюбие отца всегда поражало воображение Франца. Его восхищение отцом и уважение к нему были безграничны. Однако независимый наблюдатель, не попавший под власть родственных отношений, мог бы отметить в этом чувстве, имеющем истинную и реальную остроту, некоторое преувеличение. Но, как бы то ни было, это чувство сыграло важную роль в эмоциональном развитии Франца. Многое можно узнать из следующих, имеющих критический характер отрывков из дневника, которые я привожу

для того, чтобы дать ясную картину начала жизни отца будущего писателя.

Франц писал:

«Неприятно слышать, когда отец говорит о своем трудном детстве и постоянно попрекает молодое поколение, особенно своих детей, тем, что им все слишком легко дается. Никто не отрицает, что у него годами были язвы на ногах оттого, что его зимняя одежда была слишком легка и что он часто бывал голоден; что, когда ему было десять лет, он вынужден был, вставая на рассвете в зимнюю стужу, ходить по окрестным деревням, толкая перед собой ручную тележку. Но отец никогда не мог понять, исходя из этих непреложных фактов (вкупе с такими же непреложными фактами), что я всего этого не испытал, что из этого совершенно не следует, будто я должен быть счастливее, чем он, что он может козырять своими язвами на ногах, что он вправе воспринимать их как нечто само собой разумеющееся и не подлежащее никакому сомнению, что я не могу оценить всего того, через что он прошел, и в конечном счете, что я должен быть ему бесконечно благодарен за то, что сам не испытал ничего подобного.

Как любил я слушать рассказы отца о его детстве и родственниках, но как больно было мне слышать все это в хвастливом и сварливом тоне. Он всплескивал руками: «Кто из нынешних молодых знает об этом? Никто из них этого не испытал!» Сегодня у нас была тетя Юлия, и была беседа на ту же тему. У нее, как и у всех родственников со стороны отца, – огромных размеров лицо. Было еще что-то неуловимо жалостное то ли в цвете, то ли в разрезе ее глаз. Когда ей было десять лет, она пошла работать кухаркой. Даже в сильные холода она ходила во влажной юбке, которая замерзала на морозе, отчего трескалась кожа у нее на ногах. Юбка оттаивала только тогда, когда тетушка поздно вечером ложилась в постель».

Теперь я хочу вернуться к тому, о чем рассказывала мать Франца. Его бабушка с отцовской стороны, Платовская, слыла очень добросердечной особой. У нее была хорошая репутация среди жителей деревни благодаря ее медицинским познаниям. Вообще, характерной чертой его отца и его родных была необычайная воля к жизни и способность ее улучшать, даже ценой невероятного физического напряжения. Герман три года отбывал военную службу и любил говорить о солдатском прошлом, даже будучи уже старым человеком. Он напевал солдатские песенки, когда был в хорошем настроении, что было,

впрочем, не так уж часто. Его отец, дед Франца, мог поднять зубами целый мешок с мукой. Когда в уединенную маленькую деревенскую гостиницу заходили цыгане, напуганный хозяин посылал за дедом Франца, и тот запросто выкидывал прочь незваных гостей.

Если же посмотреть на родню Франца по материнской линии, то можно увидеть довольно пеструю картину. Здесь можно найти ученых, мечтателей, склонных к эксцентричности, искателей приключений – иноземных или чудачески уединенных. В отрывке из дневника Франца говорится о репутации и учености – в религиозных обрядах – деда и прадеда его матери. Купание в ледяной проруби было ритуалом у очень набожных людей, а вовсе не средством для укрепления здоровья. Такого метода оздоровления в те времена просто не существовало, или, по крайней мере, о нем не было ничего известно евреям. Дед и прадед были родом из семьи Пориас и жили в Подебрадах. Прадед всегда носил бахрому, как того требовала религия, но не под одеждой, а поверх нее. За ним бегали дети и дразнили его, но потом им сказали в христианской школе, что нельзя насмехаться над таким благочестивым человеком. Единственным ребенком деда Франца была Эстер Пориас. Она рано умерла, из-за чего, вероятно, ее мать покончила с собой. Эстер вышла замуж за Якоба Лёви. У них было шестеро детей, второй ребенок – девочка – стала матерью Франца Кафки. Старший брат, Альфред, уехал за границу в молодом возрасте и сделал там карьеру, став главным управляющим испанских железных дорог. Он оставался холостяком, часто ездил в Прагу и оказал на молодого Франца определенное влияние – главным образом потому, что Франц надеялся, что дядя поможет ему в жизни. У Франца была тяга к далеким странам, в одной из которых работал другой брат его матери – Йозеф. Он заведовал торговым складом в Конго, снаряжал караваны с грузом – подчас численностью в сто пятьдесят единиц. Позже он переехал жить в Париж, женившись на француженке.

Биографии родственников произвели впечатление на Франца, вот почему действие во многих его произведениях происходит в экзотических странах.

Дядя Альфред в Мадриде имел репутацию сдержанного, но доброго человека, весьма любившего своих родственников. (Я встречал его, но мое впечатление, однако, осталось неполным.) Однако Кафка был разочарован в своих ожиданиях, касающихся дяди Альфреда, о чем писал Оскару, другу детства: «Разве он не мог помочь мне выбраться из всего этого, разве он не мог взять меня куда-нибудь, где бы я мог, наконец, приложить свои руки,

свои свежие силы!» У Франца была профессия, но он смотрел на нее как на временное занятие и мечтал о другой деятельности. Его отношения с дядей, которому, в чем можно не сомневаться, он лишь робко намекал о своих юношеских желаниях, все же оставались дружескими, в рамках общей сдержанной семейной атмосферы.

Другой брат его матери, Рудольф, жил одиноким чудаком в маленькой комнате при библиотеке пивоваренного завода в Козире и со временем стал убежденным католиком. Младший брат, Зигфрид, был сельским врачом в Триеше и тоже был холост, впоследствии переехал в Прагу и поселился в доме, принадлежавшем семье Кафки. Он сыграл большую роль в позднейшей судьбе Кафки, став лечащим врачом во время его болезни.

Франц родился, согласно рассказам его матери, в доме на углу Майсльгассе и Карпфенгассе (теперь Капрова). В детстве он также проживал на Гейстгассе (Душни) в доме под названием «Минута» и на углу Венсельсплатц и Смешки. Когда я впервые его увидел, семья Кафки жила в приятном старинном доме с причудливыми формами неподалеку от Зейнской церкви на Цельтнергассе (теперь дом номер 3 по улице Целетна). Товарный склад его отца также находился на Цельтнергассе, а затем он был переведен в помещение при Киньском дворце на Старой площади. В «Размышлениях» Кафки, других его ранних работах и конечно же в дневнике можно встретить много впечатлений, полученных от посещения этого торгового склада. Достаточно только прочитать очерк «Торговец» . Кто были эти «странноватые люди из деревни», чья манера «торговать» означала «делать все не так, как люди не их круга». На складах Германа Кафки, занимающегося оптовой торговлей, хранились галантерейные товары, которые он поставлял в лавочки и магазины других городов и селений. Я отчетливо помню, что на складе было огромное количество теплых тапочек, и Франц, совместно со мной, в очередной раз безуспешно пытался помочь отцу, сетующему на большое количество работы, или, по крайней мере, старался показать свое желание помочь, чтобы получить без лишнего напряжения и суеты его одобрительный взгляд или благодарное слово. Его мать без устали помогала мужу в делах и кое в чем была незаменима. Я даже видел там некоторое время одну из сестер Франца. Но этого было недостаточно для его отца, который, обладая характером лидера, всегда хотел видеть свою семью вокруг себя. Как это теперь далеко, и воспоминания тех дней словно покрыты дымкой! Но два других дома, куда я часто приходил в гости к Францу, ясно запечатлелись в моей памяти.

Один на Никласштрассе, 36 (теперь улица Паржишска) с видом на набережную, купальни и на зеленый косогор Бельведера, другой дом Оппельта на углу Никласштрассе и Старой площади. Рабочий кабинет Кафки находился на стороне Никласштрассе. Окна выходили на прекрасную русскую церковь с причудливой фигурой, превышающей человеческий рост.

Франц был старшим сыном. Двое его братьев (Генрих и Георг) умерли в детстве (одному было два года, другому – полтора). Через шесть лет появились три его сестры, которые всегда держались вместе, и между ними и Францем словно была стена. Позже, после болезни Франца, младшая сестра твердой рукой разрушила эту стену. С тех пор она стала для Франца одним из самых близких людей, и с ней он мог делиться сокровенными мыслями и чувствами. Однако все-таки детство Франца было неописуемо одиноким. Так как мать его целыми днями была занята на складе, а отец без нее никак не мог обойтись, в том числе и в карточных играх по вечерам, образованием и воспитанием Франца занималась гувернантка и бездушные школы. Его первый эротический опыт был связан с француженкой-гувернанткой или с какой-то другой француженкой.

Печаль и тяготы своих ранних лет («тяжелый, как земля» или «тяжеловес» – Кафка получил это прозвище по другому случаю) Франц описал в своем дневнике 1911 г.:

«Когда я иногда думаю о своих школьных годах и даже о более раннем времени, мои воспоминания расплывчаты. Я полагал, что моя память льстит мне и что моя мысль весьма ленива, когда я думаю о вещах, самих по себе не важных, но имеющих большие последствия. Так, я помню, что когда я учился в средней школе, то часто спорил с Бергманом (иногда не вполне основательно, и тогда я быстро уставал) о том, следует ли мне руководствоваться своим внутренним ощущением относительно существования Бога или руководствоваться Талмудом. В то же время я любил спорить по поводу статьи, изложенной одной христианской газетой – по-моему, это была «Die christliche Welt»[1], – в которой часы и мир сравнивались с часовщиком и Богом, и существование часовщика предположительно доказывало существование Бога. Я считал, что могу опровергнуть эту точку зрения в глазах Бергмана, хотя опровержение не вполне логически созрело во мне, и для начала, прежде чем излагать его, я должен был сложить в своем уме его составные части, как сложную головоломку. Но мое опровержение все-таки было изложено – как раз тогда, когда мы гуляли около башни с

городскими часами. Я помню это столь отчетливо потому, что мы напомнили об этом друг другу всего лишь несколько лет назад. Но тогда, когда я думал, что преуспел в этом, – на деле это было всего лишь желание преуспеть, наслаждение в поисках истины и в самой истине, которую я лишь предполагал найти; это было лишь оттого, что я не задумывался глубоко о своей плохой одежде, которую мои родители шили то у одного, то у другого портного, но самым постоянным был все-таки портной из Насла. Я, конечно, замечал (что было совсем не трудно) свою плохую одежду, но мой мозг в течение многих лет отказывался признавать, что одежда отвечает за мою жалкую наружность. Но когда я стал критически оценивать, а скорее недооценивать себя – больше в своем сознании, чем в реальности, – я начал убеждаться в том, что именно моя одежда, а не чья-нибудь другая, либо топорщится, как жесткая бумага, либо висит смятыми складками. Новая одежда мне вообще не была нужна; и если я в любом случае выглядел убого, мне хотелось по меньшей мере хотя бы чувствовать себя комфортно, и в дальнейшем, по мере привыкания окружающих к моей старой одежде, не шокировать мир убогостью новых одеяний. В конце концов, этот постоянный отказ от новой одежды, в которую моя матушка время от времени пыталась меня одеть, принес ей, обладающей взглядом взрослой женщины, понимание разницы между старым и новым платьем, их влиянием на меня, и в то же время (при одобрении моих родителей) я не мог сказать, что совсем не заботился о своей наружности. В конце концов, я позволил своей плохо сшитой одежде определять мою осанку и ходил с согнутой спиной, сутулыми плечами, не зная, куда девать свои руки. Я боялся зеркал, потому что считал, что они показывают мою неприкрытую убогость, которую более наглядно и нельзя было отразить, и если я и на самом деле так выглядел, я должен был вызывать еще более пристальное внимание окружающих. На воскресных прогулках я получал от своей матери легкий тычок в спину с предостережениями (которые, впрочем, едва доходили до меня) о том, что я могу навлечь на всех массу неприятностей. В целом мой главный недостаток состоял в том, что я был не в состоянии представить себе даже самое ближайшее будущее. Я твердо сосредотачивался на сегодняшних обстоятельствах, и не потому, что испытывал к ним сильный интерес, а скорее из-за грусти и страха, возникшего вследствие той же грусти, что действительность настолько печальна, что я не могу оставить ее, пока она не превратится в радость; из-за страха, что, если я сделаю малейший шаг, я буду считать себя ни к чему не пригодным, по-детски беспомощным, но серьезно и ответственно

формирующим свое мнение о взрослом будущем, которое в любом случае представлялось мне столь невозможным, что любое малейшее продвижение к нему казалось обманом и еще раз подтверждало его недостижимость.

Миражи мне были более доступны, чем обычная реальность, и я никак не мог оставить фантазии в своих сферах, а реальность – в своих. В результате я проводил много времени без сна в постели, представляя себе, как в один день я приеду в наше гетто как богатый человек, в экипаже, запряженном четверкой лошадей, с прекрасной девушкой, которую я только что спас от позора и унижения. Но мало потревоженный этими фантазиями, которые, возможно, были не чем иным, как проявлением не вполне здоровой сексуальности, я больше волновался о том, что не выдержу годовой экзамен и меня не переведут в следующий класс, что я не смогу поступить в высшее учебное заведение и рано или поздно – не важно, в какой момент это произойдет – мои родители, не так давно пестовавшие меня для будущей жизни, и весь остальной мир вместе с ними, вдруг внезапно поразятся моей неслыханной бездарности. И оттого, что я смотрел на будущее с осознанием своей беспомощности (и редко переживая по поводу своих слабых литературных работ), мысли о нем не приносили мне никакой пользы, они лишь слегка развеивали печаль. Если я хотел, то держался прямо, но не понимал, как развернутые плечи могут повлиять на мою дальнейшую судьбу. Если мне и суждено какое-то будущее, думал я, то оно и так придет само собой. Это убеждение я выбрал себе не для того, чтобы обрести уверенность в будущем, в существование которого с трудом верил, а для того, чтобы облегчить себе настоящую жизнь.

Я решил гулять, одеваться, мыться, читать – кроме всего прочего, что происходило уединенно в моей комнате, – так, чтобы это причиняло мне как можно меньше беспокойства и не требовало никакого напряжения. Если я отклонялся от этих принципов, то придумывал себе подчас очень несерьезные отговорки. Но настало время, когда мне невозможно было более оставаться без вечернего костюма, в особенности потому, что мне предстояло решить – идти мне или нет заниматься в танцевальный класс. Из Насла был призван портной и был обсужден покрой костюма. Как всегда в таких случаях, я не мог ни на чем остановиться, потому что боялся – если я приму какое-то решение, оно не только вынудит меня сделать какой-то неприятный дальнейший шаг, но и повлечет за собой некие более неприятные последствия. Поэтому прежде всего я решил, что у меня не будет черного костюма; и так как мне было очень стыдно

оттого, что незнакомые люди смотрели на меня как на человека, не имеющего никакой вечерней одежды, я позволил своим близким поднять этот вопрос. Но поскольку я осознавал, что вечерний костюм совершит революцию в моем сознании, о чем мои родные догадывались, но вполне этого не могли понять, было все-таки решено сшить мне пиджак к обеду, который я, по крайней мере, был готов носить, потому что он имел сходство с обычным пиджаком. Но когда я услышал, что пиджак будет иметь глубокий вырез, что предполагало ношение отутюженных рубашек, я сразу же настроил себя против такого пиджака, зная, что это не вызовет одобрения моей семьи. Но я был против такого фасона, я был готов носить пиджак из шелка или пиджак, облицованный шелком, но с высоко застегивающейся верхней пуговицей. О таком обеденном пиджаке наш портной никогда и не слышал, но он не преминул заметить, что, какой бы фасон я ни придумал, он все равно не подойдет для занятий танцами. Хорошо, он не годился для танцевальных целей, но я вообще-то и не собирался танцевать. Этот вопрос был вообще-то далек от существа дела, потому что я хотел иметь пиджак в точности такой, каким его описал. Портной с трудом понимал мои соображения, потому что я примерял одежду со стыдливой поспешностью, без высказывания каких-либо комментариев или пожеланий. Поэтому единственно, что мне оставалось делать (тем более на этом настаивала моя матушка), – это в невероятном смущении пойти с ним на Старую площадь и показать пиджак, который я заприметил в витрине одного магазина. Этот безобидный пиджак висел там довольно долгое время, но, к несчастью, когда мы пришли, я не смог там его обнаружить, даже несмотря на мои усердные попытки разглядеть его внутри магазина. Зайти же в сам магазин в поисках пиджака я не отважился, поэтому мы вернулись домой в том же состоянии неопределенности. У меня, однако, осталось ощущение, что эта неудавшаяся попытка наложила печать проклятия на будущее обеденного пиджака; по крайней мере, я с раздражением слушал все эти невнятные извинения, приносимые отсылаемому прочь портному по поводу столь незначительного заказа, и стоял, усталый, за спиной матери, которая грозилась навсегда (все, что относится ко мне, сопровождалось словом «навсегда») оградить меня от красивых девушек и футбольных мячей. Радость, которую я при этом испытал, смешивалась с отчаянием, потому что я боялся, что выглядел в глазах портного таким болваном, каких он в своей жизни еще не видал».

Франц ходил в немецкую начальную школу на Флейшмаркте,

а потом в немецкую грамматическую школу на Старой площади. Последняя считалась самой строгой в Праге. Посещаемость была низкая. В просторных помещениях было мало учеников, и, конечно, их чаще спрашивали, чем в более либеральных средних школах. Учителя были робки и напуганы. Я ходил в среднюю школу Святого Стефана и не знал в то время Кафку, но до меня доходили о нем неясные слухи. Я видел прохладные элегантные классы, когда ходил на факультативные уроки французского, которые преподавали для нас учащиеся грамматической школы Святого Стефана. В Киньском дворце также находились помещения средней школы. Годы спустя Франц иногда говорил мне, что он «готов был плакать на экзаменах по математике», и с благодарностью вспоминал Хуго Бергмана за то, что тот давал ему списывать домашнее задание. С другой стороны, должно быть, он был хорошим учеником, поскольку неуспевавших безжалостно исключали.

Согласно рассказам матери, он был слабым, болезненным ребенком, обычно серьезным, но, несмотря на это, склонным к шалостям. Франц в детстве много читал и не любил физических упражнений, чем составлял противоположность старшему Кафке, любившему спортивные занятия.

На своей детской фотографии он смотрится маленьким мальчиком около пяти лет, хрупким, с большими, словно вопрошающими глазами и тонкими губами. Его черные волосы, зачесанные прямо на брови, усиливают ощущение некоторого угрюмого упрямства, в то же время руки безвольно висят в рукавах крепкого, но не совсем хорошо сидящего морского костюмчика.

Франц очень мало играл со своими сестрами, у них была слишком большая разница в возрасте, и они больше ссорились, чем играли. Только на день рождения родителей маленький Франц писал пьесы для своих сестер. Они ставились в семейном кругу, и этот обычай длился до юношеского возраста. Сестры помнят некоторые пьесы и их сюжетные линии и по сей день. Одна из них называлась «Эквилибрист», другая – «Иржи (George) из Подебрад», третья – «Фотографии говорят» (речь шла о семейных фото). Франц никогда не играл в этих постановках, а выступал только как автор и сценический режиссер. Позднее Франц предложил своим сестрам ставить короткие пьесы Ганса Сакса, в которых он выступал как аранжировщик.

В маленьком классе школы, где учился Франц, были учащиеся, которые впоследствии заняли видное положение.

Среди них был уже упоминавшийся Хуго Бергман, который спустя годы стал известным философом. В настоящее время он

профессор и ректор Еврейского университета в Иерусалиме. Однако на протяжении учебы Кафка и Бергман, несмотря на близкие отношения, плохо знали внутренний мир друг друга. Так же было и с Эмилем Утицем, ставшим потом профессором философии в Галле и Праге, и с Паулем Кишем, будущим историком литературы и издателем «Neue Freie Presse». Оскар Поллак был единственным, с кем у Франца была дружба, основанная на родстве душ, в чем мы убедимся несколько позже.

Для Кафки имел огромное значение образ его отца, преломлявшийся в его сознании в гротескной, преувеличенной форме. Такое восприятие было свойственно натуре Франца. Одно из последних произведений Кафки посвящено именно этому. В ноябре 1919 г., когда мы с ним вместе жили в Шелезене неподалеку от Либохе, – я могу с большой точностью восстановить в памяти те дни, – он написал очень обстоятельное «Письмо отцу». Это – больше, чем письмо, это – небольшая книга. Это произведение простое по стилю, но оно – сложное по содержанию и является свидетельством о его жизни-борьбе. Нелегко истолковать все произведение. В некоторых местах, конечно, можно найти соответствие с тезисами психоанализа, но это видно лишь на поверхности, и невозможно объяснить глубинный подтекст. В силу этих обстоятельств «Письмо отцу» трудно для понимания массового читателя. Но все же к нему можно сделать некоторые комментарии. Несмотря на то что в этом «Письме» более ста страниц, Франц, как я узнал из разговора с ним, был намерен немедленно передать его отцу через мать. Какое-то время Кафка был убежден в том, что с помощью этого «Письма» он сумеет прояснить свои отношения с отцом, которые становились удручающе застойными и болезненно укоренялись. В реальности вряд ли могло быть иначе. Объяснения, предназначенные отцу, никогда не достигли бы своей цели. И мать Франца не передала письмо, а вернула его Францу, возможно, с некоторыми словами сожаления. После этого мы никогда не вспоминали об этом письме. «Дорогой отец, – начинается письмо, – ты спросил меня, почему я утверждаю, что боюсь тебя. Как обычно, я не знаю, как тебе ответить, отчасти потому, что я действительно испытываю некоторый страх по отношению к тебе, отчасти потому, что мое чувство отличается большой сложностью». Затем следует очень подробный анализ их взаимоотношений, который сопровождается доскональным самоанализом, постепенно перерастающим в короткую автобиографию с экскурсом в детские годы.

Кафка всегда был склонен к автобиографичности, причем не только в своих дневниках, но и в разного рода откровениях,

например: «У меня есть сильное желание написать автобиографию, и я должен освободиться от канцелярской работы. Самое главное, что я должен осуществить, садясь писать, в качестве временной задачи, – это задать определенное направление массе событий. Какие-либо другие направления, кроме намеченного, могут быть настолько неприятны, что уведут меня от избранного пути, в какую сторону – я не могу предугадать. Но, как бы то ни было, писать свою биографию мне будет необыкновенно приятно и настолько легко, будто я буду писать о своих мечтах, и, несмотря на то что результат может быть совершенно неожиданным, в целом написанное останется со мной навсегда и в то же время, может быть, благотворно повлияет на чьи-либо размышления и чувства».

В адресованном мне письме еще раз было изложено желание Кафки «вполне убедительно описать свою жизнь». Он писал: «Следующим моим шагом будет то, что я перестану растрачиваться на пустяки». В случае с Кафкой желание привести свое душевное состояние в порядок преобладает над обычным удовольствием, которое испытывает писатель, излагая свои чувства, которые так великолепно описал Томас Манн в своем эссе «Гёте и Толстой». Они выражаются в неизбежно невыполнимом, но безусловном требовании писателя к миру любить его с его слабостями и добродетелями. «Замечательно то, что мир признает эти требования». Борьба Кафки за собственное совершенство (он сказал бы – со своим ужасным несовершенством) была такой напряженной, что он не думал об усовершенствовании внешнего мира.

Правда то, что «Письмо отцу» было написано единственно с целью высказаться по этой теме, правда и то, что субъективная оценка, противореча порой реальным фактам, все же имеет полное право на существование, несмотря на двусмысленности и недомолвки. То там, то здесь я вижу, что искажается перспектива, что безосновательные предположения вдруг начинают особым образом складывать факты, а то, что, казалось, должно быть незначительным, вызывает немедленную реакцию. Создано целое рукописное здание, но его отдельные части плохо соотносятся друг с другом, поэтому написанное в итоге начинает противоречить самому себе и здание с трудом сохраняет равновесие на своем фундаменте. В конце письма приводится воображаемый ответ отца: «Предъявив мне такие упреки, ты настаиваешь на том, что ты – «сверхумный» и «сверхвосприимчивый», и хочешь показать мне, что сам не подлежишь осуждению. Ты говоришь красивые слова о бытии, о природе, о противостоянии, о беспомощности, а меня

представляешь деспотом, агрессором, а себя – защищающимся. Твою бесчестность доказывают три момента: первое – это то, что ты якобы невиновен, второе – то, что ты считаешь виновным меня, и третье – это то, что ты будто по доброте душевной не только прощаешь меня, но и собираешься пойти дальше – признать меня невиновным.

Это, казалось бы, должно быть достаточным для тебя – но нет. Ты, как я вижу, решил, что мы должны продолжать жить вместе. Я полагаю, что мы будем бороться друг с другом. Однако есть два вида борьбы. Одна – рыцарская, в которой два независимых противника испытывают свои силы и каждый стоит на своем, неся потери или завоевывая победу. Есть еще борьба хищников, которая не подразумевает битвы, ее цель – высосать кровь из противника. Ты не можешь противостоять жизни, и вместо того, чтобы устроиться в ней комфортно, без тревог и самобичевания, ты доказываешь, что я ограбил тебя – отнял у тебя способность устраиваться в жизни и спрятал ее к себе в карман». (Этот отрывок, кстати, проливает свет на происхождение «рассказа о хищниках» Франца Кафки – *«Метаморфозы»*, — а также короткого рассказа «Приговор»).

Как следует из приведенного абзаца, главной темой всего письма оставался все тот же вопрос – кто виноват, – однако в вышеприведенном отрывке он приобрел несколько другой аспект, который можно сформулировать так: слабость сына против силы отца, который сделал себя сам и который, осознавая свои достижения и силу, сконцентрировал себя на этих достижениях, сделал себя мерилом всего сущего и как наивный человек никогда не мучился сомнениями и руководствовался всегда только своими инстинктами – в той мере, в какой он ими обладал. На самом деле противостояние было не так очевидно в жизни, как в «Письме», в котором все намерения сделать мир справедливым свелись к простому их изложению – как в других работах Кафки. Эта очевидность пронизывает все повествование, особенно отчетливо она звучит в последних строчках, которые имеют наибольшее значение во всей дискуссии: «Разумеется, отрезки жизни складываются не так легко, как абзацы моего письма, ведь жизнь – это нечто большее, чем игра в терпение. Но если мои возражения небезосновательны, если, несмотря на то что я не способен, да и не хочу вдаваться в подробности, в них будет что-то правдивое, я надеюсь, это успокоит немного нас обоих и сделает нашу жизнь и смерть более легкими».

Кроме всего прочего, контраст между родней с материнской стороны и отцовской линией был разительным. Франц Кафка являлся потомком двух разных семей: робких, со странностями

Леви (по материнской линии) и реалистичного, прагматичного рода его отца. Он писал об этом: «Какое интересное сочетание! С одной стороны, я – Леви, у меня нет умения жить, присущего роду Кафки, я не умею заниматься коммерцией, побеждать… С другой стороны, я – настоящий Кафка, со своей силой, здоровьем, решимостью, аппетитом, красноречием, самодовольством, чувством уверенности, знанием жизни, некоторой широтой натуры и смелым темпераментом». Сравним это с характеристикой, изложенной в другом отрывке, где Франц говорит о чертах, присущих его родне со стороны матери: «Упорство, чуткость, чувство справедливости, неугомонность». Целая гамма трагических контрастов появляется в конце «Письма», где Кафка рассказывает о своей неудавшейся попытке жениться. Кафка сравнивал себя и отца: отец добивался всего, что хотел, а сын не мог ничего добиться. «Главным препятствием для меня в браке было то, что необходимо быть главой семьи и необходимо всегда быть вместе, и когда хорошо, и когда плохо, как это делаешь ты, с присущими тебе здоровьем, силой, красноречием, выдержкой, уверенностью в себе, склонностью к тирании, знанием жизни и недоверием ко многим. Из всех этих качеств я не унаследовал почти ничего, или очень мало, и как я мог отважиться жениться, когда видел, что даже у тебя была тяжелая борьба в семейной жизни и даже ты потерпел в ней поражение в отношении своих детей. Конечно, я не ставил себе многословных вопросов и не отвечал на них пространно, иначе я встал бы на банальный путь обдумывания данного предмета и открыл бы для себя других людей, отличных от тебя – таких, как дядя Р., который все-таки женился и не согнулся под тяжкой ношей, – и это было бы достаточно для меня. Но я не сегодня поставил для себя этот вопрос – он существовал для меня с самого детства. Конечно, меня волновали не только вопросы брака, мне были интересны любые мельчайшие явления. И ты убедил меня – как своим собственным примером, так и методом моего воспитания, – что в мелочах жизни я ни к чему не способен. Но истина, касающаяся незначительных явлений, была чудовищной правдой и для серьезного вопроса – женитьбы».

Исходя из прочитанного, нельзя более отрицать связи размышлений Кафки с теориями Фрейда, особенно в части «бессознательного».

Хотя я до сих пор колеблюсь и должен все-таки возразить против столь легкого пути нахождения соответствия – и не потому, что Франц Кафка хорошо изучил эти теории и считал их очень грубым и готовым толкованием без проникновения в детали и даже без реального изучения психологического

конфликта. Поэтому в следующих строках я постараюсь изложить другой подход к фактам на примере Клейста. Прежде всего, следует отметить, что собственное замечание Кафки о том, что он никогда не пускался в многословные размышления и в то же время не «мыслил примитивно», потому что вопрос был тесно связан с потрясающим осознанием превосходства отца, похоже, подтверждает обычные положения психоанализа. То же самое можно сказать о характеристике, которую он дал отцовскому «методу воспитания» детей, а также о многочисленных дневниковых записях, касающихся «его плохого воспитания», и приведенных в конце дневника письмах о воспитании детей, написанных касательно статьи Свифта («дети должны воспитываться только отдельно от родителей»).

Почти во всем письме Франц говорит о том, как его воспитывал отец. «Я был нервным ребенком, – пишет Кафка, – и часто капризничал, как это бывает с детьми, и моя мать нередко меня баловала, ласково брала на руки, смотрела на меня любящими глазами, но я не верю в то, что я был особенно трудным ребенком и что ласковое слово и добрый взгляд не могли заставить меня слушаться. В душе ты – добрый и мягкий человек (что не противоречит всему сказанному, потому что я говорю о внешнем впечатлении, производимом на ребенка), но ты считаешь, что необходимо вести ребенка по созданному тобой же пути, с жестокостью, шумом и напором, и полагаешь при этом, что это – наиболее правильный путь. Ты хотел сделать меня сильным, храбрым мальчиком».

В «Письме» раскрывается, что незначительные наказания, перенесенные им в раннем детстве, больше отложились в его сознании, чем материальное благополучие. Франц говорит, что он был «просто ничто» для отца. Постоянная критика отца для блага ребенка – по поводу друзей, с которыми он пошел, по поводу его жизни и поведения в целом – стала в конце концов невыносимой ношей и привела к тому, что ребенок стал его сторониться. Сам отец не следовал своим строгим правилам, и это нарушение логики было впоследствии воспринято сыном как показатель необыкновенной мощной жажды к жизни и несокрушимой воли. «Ты всегда был уверен в своей силе и считал свое мнение единственно правильным… Ты правил миром со своего кресла. Только ты всегда был прав, если другие не соглашались с тобой, то они были для тебя помешанными, сумасшедшими, ненормальными. В то же время твоя уверенность была настолько сильна, что для тебя не было никакой нужды ни на чем настаивать, и ты всегда был прав. Часто бывало так, что ты вообще не имел никакого мнения о предмете разговора, но и

тогда ты отметал любое другое мнение. Ты, например, мог сначала ругать чехов, потом немцев, а потом евреев – и не по какому-то конкретному поводу, а просто так, вообще, и в конце не оставлял никого, кроме самого себя. И в результате ты делал запутанный вывод о том, что власть всех тиранов базируется не на логических принципах, а на их собственных персонах».

Следует обратить внимание на то, какой великий интерес представляла суть власти для Кафки, как волновала его проблема человеческого достоинства, иными словами, – демократии. Эти темы звучали в романах «Процесс», «Замок», в рассказах и набросках, например во фрагментах из «Великой Китайской стены». Каждый, наверное, по собственным ощущениям знает, какое очарование могут вызвать уверенные в себе, абсурдные персонажи, которых не волнуют никакие принципы и не раздирают никакие внутренние противоречия до тех пор, пока: а) кто-нибудь не увидит насквозь эти противоречия; б) кто-нибудь не почувствует желание найти такого же человека – например, влюбленная женщина – и таким образом вместе подпасть под влияние всевозможных обстоятельств. Часто с некоторым высокомерием задают вопрос: «А почему Кафка так нуждался в своем отце?» – или, лучше сказать: «Почему он не смог порвать с ним, несмотря на свое критическое отношение, или хотя бы дистанцироваться от него, как делают многие другие дети, стараясь найти убежище от своих родителей? Но с тех пор, как он попытался создать эту дистанцию между собой и своим отцом и в последующие годы почти с ним не общался, почему он так страдал из-за этого отдаления и холодности? Может быть, оттого, что не смог признаться самому себе, что между такими разными характерами все-таки существовала интимная связь?» Действительно, Франц хорошо знал своего отца – он не только отмечал его неприглядные черты, но и восхищался его достоинствами. Но у отца была особая природа характера, и не его в том вина, а вина этой самой «природы», отмечает Кафка в своем «Письме», что всякие попытки понять своеобразный характер его сына становятся бесполезными. В бесконечных разговорах я пытался убедить своего друга, о чьей глубокой ране я знал и до чтения его дневника, что он слишком превозносит своего отца и что нельзя так глупо принижать самого себя. Все это было бесполезно, но поток его аргументов (когда он не хотел, а это было довольно часто, сохранять спокойствие) не мог ни на минуту поколебать моего мнения.

И по сей день я полагаю, что фундаментальный вопрос: «какое влияние оказал на Кафку его отец?» – поставлен будто не самим Кафкой, а неким сторонним наблюдателем. Кафка

нуждался в том, чтобы этот вопрос возник раз и навсегда как естественный и неоспоримый и довлел бы над ним всю жизнь как «груз страха, слабости и самоунижения». В «Письме» Кафка придает вердикту отца безграничную власть над своей жизнью и смертью (см. рассказ «Вердикт»). В нем говорится: «Мужество, решительность, уверенность, доброжелательность не могли быть выражены до конца, если ты им противостоял или даже только предполагал противостоять – что чаще всего я и делал… В твоем присутствии (ты – превосходный оратор) я начинал заикаться. Потому что это был ты – тот, кто вырастил меня, и ни о чем не мог говорить». Здесь можно провести одну примечательную параллель: кажется, Клейст тоже заикался при виде его отца и тоже страдал от этого. В отношении кого-либо другого, когда он был расположен говорить, он нарушал свое обычное молчание и говорил совершенно свободно, легко, элегантно, изумительно естественно и без всякого заикания.

Результатом отцовского воспитания было бесконечное страдание Франца, о чем он откровенно пишет в «Письме» (здесь Кафка приводит свой собственный комментарий к финалу романа «Процесс»): «В твоем присутствии я теряю уверенность в себе и испытываю безграничное чувство вины. Вспомнив об этом чувстве, я однажды написал с полной искренностью: «Он боится позора, который будет жить даже после него». Кафка делает ряд усилий, чтобы избавиться от влияния отца и найти место, где бы он был недосягаем. Когда Кафка оценивал чью-нибудь литературную работу, он судил очень строго и называл ее не иначе как «сооружение на идеальном фундаменте конструкции», которая, не имея ничего общего с живой жизнью, буйно разрастается в разных направлениях, крепко цепляясь за непомерно грубые и абстрактные комбинации. Однако сам Кафка зачастую впадал в подобное «конструирование» и подгонку деталей, что, с одной стороны, выходило естественно и неподдельно, а с другой стороны, было полуправдой или чрезмерным преувеличением. Вот почему Кафка хотел сконцентрироваться на литературной работе как на попытке «уйти от собственного отца», будто радость творчества и наслаждение искусством возникли не в результате их совместных усилий, а только лишь по его собственной воле. Для тех, кто знал его близко, он был совсем другим, нежели для тех, кто видел в нем лишь человека, носящего на себе печать отцовского влияния. Для близких он был человеком пылающим, жаждущим и умеющим мыслить, стремящимся к знаниям, интересующимся окружающей жизнью и любящим человечество. Частично Кафка сам обрисовал эту ситуацию в «Письме отцу»: «Мои записи были

посвящены тебе, и в них я излил стенания, которые я не смог выплакать на твоей груди. Они были последовательно извлечены из моей памяти и сохранены, и хотя они были навязаны тобой, искусство их изложения принадлежит мне».

В «Письме» Кафка изложил свои взгляды на другие стороны жизни: на семью, на дружбу, на иудаизм, на профессию, наконец, на его две попытки жениться. «Мое мнение о себе зависело в первую очередь от тебя, а не от других обстоятельств, например от жизненных успехов… Я жил отверженным, и хотя я боролся за другую жизнь, мои усилия оказывались тщетными, поскольку я пытался сделать невозможное» .

После общего анализа своего детства Кафка переходит к унижающей самохарактеристике, написанной в весьма пессимистическом духе. Он говорит о том, что почти ничему не учился в средней школе, с чем я не вполне могу согласиться, в частности, касательно его познаний в греческом, поскольку мы вместе читали Платона в университете, и затем продолжает: «Сколько я себя помню, для меня была так важна проблема защиты моей души, что остальное было мне безразлично. Еврейские школьники в нашей стране часто отличаются странностями, у них можно найти очень своеобразные черты характера, но моя скрытность, флегматичность и детская беспомощность, иногда доходившая до смешного, были просто фантастическими. Моя замкнутость была моей единственной защитой от навязчивого ощущения страха и от чувства вины».

«Попытки скрыться» занимают особое место, хотя в целом и связаны с «Письмом отцу». Обращение к иудаизму как средству уйти от отца имело жизненно важное значение для его юности и особую важность – в последующий переходный период. Осознание иудаизма сказалось и на дальнейшем религиозном развитии писателя. «Я понял, что недалеко удастся мне убежать от тебя с помощью иудейской веры. Сам по себе этот побег возможен, но не более того, однако, может быть, мы найдем друг друга в иудейской вере или, по крайней мере, обнаружим исходную точку, из которой мы вместе отправимся по одному пути. Но что за иудаизм ты исповедовал! В течение многих лет мое отношение к нему менялось несколько раз. Когда я был ребенком, я соглашался с тобой и упрекал себя за то, что недостаточно часто ходил в синагогу, не соблюдал постов и т. д. Меня переполняло чувство вины.

Позже, когда я стал молодым человеком, я не мог понять, как ты, обладая лишь поверхностными знаниями в иудаизме, мог упрекать меня в безбожии и при этом даже не претворял в жизнь свои скромные познания. Для тебя религия была чем-то вроде

шутки. Ты ходил в синагогу четыре дня в году, и, когда ты там находился, у тебя был безразличный вид. Ты был скорее индифферентен, чем серьезен, относился к чтению молитв как к формальности, иногда изумляя меня тем, что показывал в молитвеннике место, которое было только что пропето, однако оставаясь при мнении, что это всего лишь синагога, и поэтому разрешал мне крутиться и вертеться сколько я захочу. Я обычно зевал и томился много часов подряд (позже я так же скучал в танцевальных классах) и старался отвлечь себя хоть какими-нибудь занятиями – например, открыть раку со святыми мощами, что всегда напоминало мне тир на рынке, там тоже была коробочка, которую необходимо было открыть, но для этого надо было попасть в глаз быку. Трудно было ожидать, конечно, что из коробочки появится что-то интересное, потому что каждый раз оттуда выскакивали две старые безголовые куклы. Кроме всего прочего, я очень боялся посещать синагогу не только потому, как ты догадался, что меня окружало множество народу, но и потому, что ты как-то вскользь заметил, что меня могут вызвать читать Тору. Но, несмотря на все это, мало что могло развеять мою скуку, разве что обряд Бар Мицва, в котором требовалось глупое заучивание, и это казалось мне неким смешным экзаменом. Когда же тебя вызывали читать Тору, что я считал чисто общественным делом, то ты выполнял его подобающим образом; когда ты присутствовал на поминальной службе, меня отсылали прочь, и долгое время, очевидно, по этой причине, а в целом из-за полного отсутствия у меня интереса к этому обряду, у окружающих бытовало мнение, о котором я с трудом догадывался, что во всем этом было что-то неприличное. Это все, что касается синагоги. Дома твоя религиозность выглядела более жалким образом и ограничивалась ночным празднованием Пасхи, которое всегда заканчивалось веселой комедией, устраиваемой старшими детьми. (А почему ты это допускал? Да потому, что сам разыгрывал эту комедию.) Вся эта грязь, которая налипала на меня, разрушала мою веру. И самое лучшее, что мне оставалось делать, – это избавляться от нее как можно скорее, что и было бы самым богоугодным делом.

Но гораздо позже я стал по-другому смотреть на вещи и понял, как предательски я вел себя по отношению к тебе. Иудаистская вера была обретена тобой в маленьком приходе похожего на гетто поселка, она была частично разрушена городской жизнью и службой в армии, но в то же время в твоей душе остались воспоминания и впечатления юности, и вера твоя приобрела особый оттенок. Ты все-таки не особо нуждался в иудаизме, потому что имел в своей душе непоколебимый

стержень, и вряд ли тебя могли тревожить религиозные сомнения, если только они не соприкасались с социальными проблемами. Главная вера, которая вела тебя по жизни, была вера в абсолютную правоту еврейских бизнесменов, а так как вера эта была частью твоего происхождения, то она была и верой в самого себя. В этой вере вполне хватало иудаизма, но что касается твоих детей, им этого было недостаточно, и вера уходила капля за каплей сквозь твои пальцы. Частично это происходило из-за недостатка нашего общения в детстве, частично – из-за твоей внушающей страх персоны. Ребенка невозможно было заставить мыслить сверхкритически и поверить в то, что те незначительные детали, в которых заключался твой иудаизм, вкупе с твоей индифферентностью, могли иметь высшее значение. У тебя было свое мнение, сформированное как воспоминания старины, и ты хотел навязать это мнение мне, но так как оно не имело для тебя глубинного значения, то делал ты это через силу, и, с одной стороны, не мог добиться успеха, а с другой – не мог потерпеть поражения; и так как ты не осознавал слабости своей позиции, то свирепел от моей, как ты думал, непримиримости.

Как бы то ни было, твоя коммерция – это не обособленное явление: в переходный период многие поколения евреев покинули села, которые до сих пор остаются религиозными, и переехали в города; и многие семьи, так же как и наша семья, испытали горечь и боль. И ты, как и я, должен верить в свою чистоту в этом вопросе, но ты можешь объяснить эту невинность своим особым характером и нравами времен, а не просто внешними обстоятельствами, и сказать, к примеру, что ты был слишком загружен работой, чтобы чем-либо еще забивать свою голову. Таким образом ты можешь всегда использовать свою несомненную чистоту против других людей. Но этот аргумент в данном случае, как и во многих других, очень легко может быть опровергнут. Речь идет о том, чтобы давать своим детям не какие-то теоретические уроки, а учить их на примере собственной жизни. Если бы вера твоя была более строгой, твой пример, очевидно, был бы более убедительным, и это – совсем не упрек, а лишь способ избежать твоих упреков. Недавно ты прочитал воспоминания Франклина о его молодости. Я дал тебе их не для того, чтобы ты, как ты иронически заметил, ознакомился с отрывком, в котором говорится о вегетарианстве, а из-за того, что там говорится об отношениях между автором и его отцом и между автором и его сыном.

Я вновь убедился в твоих особых взглядах на иудаизм за последние несколько лет, когда тебе казалось, будто я проявил особый интерес к еврейскому вопросу. А так как у тебя вошло в

привычку осуждать все мои занятия, а особенно мою любознательность ко всему на свете, ты невзлюбил и этот мой интерес. Однако можно было ожидать, что в данном случае ты сделаешь хоть маленькое исключение – ведь я заинтересовался твоей точкой зрения на иудаизм, и это могло бы привести нас к какой-то точке соприкосновения. Я не отрицаю, что если бы ты проявил интерес к моим взглядам, то это вызвало бы у меня подозрения. Я ни в коей мере не берусь утверждать, что я в этом отношении лучше тебя. Но на деле это никогда не будет доказано. И так как мой активный интерес к иудаизму вызывал у тебя возмущение, а иудейская литература казалась тебе нечитабельной и «отвратительной» – ты настаивал на том, что тот иудаизм, которому ты учил меня в детстве, – единственно правильная форма религии, и больше ничего не надо знать. Но мне это трудно было представить. Твое «отвращение» – кроме того, что оно относилось не к самому иудаизму, а ко мне лично, – означало только то, что ты, сам того не замечая, осознавал слабость своей веры и моего еврейского воспитания, а потому с раздражением реагировал на любые напоминания об этом. В любом случае твое негативное восприятие моего интереса к иудаизму было чрезмерным: во-первых, оно приносило тебе мучения, а во-вторых, имело фатальные последствия для моих отношений с друзьями».

Что касается матери, то в суматошном детстве она была символом благоразумия. Она не выступала в защиту сына, когда он жаловался ей, но все понимала, – и ее «несопротивление» было вызвано не только любовью к своему мужу, но и простым желанием уступить человеку, которому никто не мог перечить. Но мысль о том, что родители объединились против него, что мать лишь тайком может выражать свою любовь к нему, нашла глубокое отражение в творчестве Кафки. Вы можете найти ее в любых работах – прочитайте, например, рассказ «Супружеская пара». Если вы посмотрите на него под этим углом зрения, то увидите, что это произведение – одно из самых вдохновенных и личных. Каждое слово в нем, правильно понятое, наполнено смыслом, начиная от сетований по поводу бизнеса в начале и кончая словами жены мистера Н., адресованными визитеру или даже, скорее, незваному гостю: «Что бы вы ни говорили, мать может сделать чудеса. Она может сложить вместе то, что мы все разбили. Но я потеряла ее, когда была ребенком». И финальное замечание: «О, как много деловых начинаний оканчивается ничем, а мы продолжаем нести тяжелую ношу».

Странно не то, что Кафка очень рано понял, что ему чужд характер отца, и в то же время восхищался его жизнелюбием и

силой. Странно то, что, ставши взрослым, Франц все искал у отца положительные черты. «У тебя особенно красивая и добрая улыбка, какую редко можно встретить», – говорит Кафка в «Письме». Он описывает моменты, когда его охватывало теплое чувство к отцу: «Это случалось нечасто, но это было чудесно. Например, когда я видел тебя жарким летом после обеда усталым, вздремнувшим у конторки; или когда ты приезжал в воскресенье, будучи изнуренным работой, к нам в деревню подышать свежим воздухом; или когда ты во время опасной болезни матери, рыдая, стоял, держась за книжный шкаф; или когда ты во время моей последней болезни осторожно зашел ко мне в комнату, встал в дверях и лишь помахал мне рукой, чтобы ободрить меня. В таких случаях я, ложась в постель, плакал от радости, и теперь я плачу, когда пишу об этом…» Он посвятил одну из своих книг, «Сельский врач», своему отцу. Франц часто рассказывал, что отец ответил ему, когда тот вручал ему книгу. Отец только произнес: «Положи ее на столик возле моей кровати».

Франц с большой грустью пишет в своем дневнике о вечере, устроенном в городском зале для бедного польского еврейского актера, на котором он произнес вступительную речь, и она вызвала большой интерес. Он пишет: «Моих родителей на вечере не было».

Образ жизни родителей Кафки был очень похож на образ жизни родителей Марселя Пруста. Как писал Леон Ньер-Кен в работе «Marsel Proust, savre, son ocuvre»[2]: «Son pere, partit tot le matin, ne voyait presque son fies». С другой стороны, его мать: «une femme douce… elle vullait avec soin lui, lui pardonnait d'avana sec fantasies, les habitudes de nenchalahce auxquelles il s'abandohnait!»[3] Таким образом, у Кафки с Прустом было общее в судьбе. Есть общее и в их творчестве. Им обоим присущи необычайные подробности в описаниях, любовь к деталям, странность, которую я мог был назвать «лихорадкой копирования», некоторая общность в национальностях (мать Пруста была еврейкой) – все это может привести к проведению многочисленных параллелей, хотя, конечно, космополитическое окружение Пруста и буржуазная Прага, в которой жил Кафка, по-разному сказались на их развитии.

В случаях с Прустом, Клейстом и Кафкой, которых никогда не покидали детские впечатления, как считают психоаналитики, существует подсознательный эротический комплекс по отношению к матери и подсознательная ненависть к отцу. Но для детского комплекса есть объяснение, состоящее в том, что родители являются первой проблемой для ребенка, он оказывает

им первое сопротивление, его аргументы являются моделью для будущей борьбы в жизни. Человек начинает единоборство с жизнью и миром. Первый раунд: его родители. Затем жизнь посылает ему других оппонентов: школьных товарищей, учителей, знакомых, публику, непостижимый мир женщин. Враги способствуют развитию готовности к бою, активности и ставят человека перед испытанием. Способ, с помощью которого человек побеждает в своем первом раунде, является показателем того, каким будет его будущее. Для исследователя начало рассматривается как реальный набросок или подобие будущих фаз его жизни. В то время как психоаналитики предполагают, что человек строит свою жизнь под влиянием своего отца, безвольно повинуясь божескому промыслу, другая точка зрения (впервые изложенная Гансом Политцером) не исключает того, что существуют особо чувствительные люди, каким был Кафка, чья «идея отца» обогащается и развивается, а их мировоззрение наполняется осознанием Бога (или, как я уже пытался показать, ощущением мира, в борьбе с которым такие люди становятся взрослее).

«О, знал я путь, как вернуться в милую страну детства», – пишет Клаус Грот в поэме, положенной на музыку Брамса. Это страстное желание, возникшее лишь как эпизод в жизни взрослого человека, – возможно, в результате усталости в конце тяжелого дня, – ставит вопрос: может ли уставший человек проявить свой характер более искренне, чем амбициозные люди или люди, изнуренные необходимостью зарабатывать себе на жизнь? Этот эпизод «вернуться в страну детства» свидетельствует об инфантильном комплексе, о решающей для судьбы человека роли событий его юных дней, последствия которых могут оказывать влияние на всю его последующую жизнь.

Дети доверяют своим родителям и хотят, чтобы родители также им доверяли. Здесь и возникает один из первых больших конфликтов в человеческой душе. Вместо взаимного доверия мир предлагает нечто совершенно другое – борьбу, войну. Примером того, как глубоко может подействовать на ребенка конфликт с родителями, может послужить жизнь поэта Клейста. Клейст всегда переживал: «Что скажут члены семьи о выборе моего жизненного пути? Доверяют ли мне они?» Конечно, было большое разногласие между старинным прусским родом семьи Клейста, представители которого снискали себе славу на полях битвы или в правительственных ложах, и утонченным, эмоциональным, неуравновешенным поэтом, руководствовавшимся высшими этическими принципами. Среди своей родни он считался «белой вороной». Он знал, что в глазах своей семьи его стихи и драмы

выглядели не более чем прихотями бездельника. Кафка читал письма Клейста с особым интересом и делал пометки в тех местах, где Клейст рассуждал, что поэт – «совершенно бесполезный член человеческого общества, не стоящий внимания», и как-то со скрытой иронией заметил, что на столетие со дня смерти Клейста его потомки возложили на его могилу венок с надписью «Лучшему представителю рода».

Человек рассудка может лишь снисходительно пожать плечами, когда человек чувства ищет духовного самоутверждения, живет напряженной внутренней жизнью, желает признания и веры от своих близких и приходит в отчаяние, видя, что его не понимают в его собственной семье. Человек рассудка, как известно, скоро приходит к выводу: «О, мои близкие неисправимы, их не переделаешь. Но мир велик. Есть другие судьи. Я докажу им, что я дорогого стою и что то, что обо мне думают мои родные, вовсе не правда». Здесь мы можем снова увидеть трагикомическую сторону жизни. Человек рассудка, желающий завоевать авторитет во внешнем мире, ничего не выигрывает перед человеком чувства. Конфликт состоит в том, что «большой мир» становится скоро «маленьким» и чинит человеку препятствия, а когда тот умоляет о доверии, отказывает ему в нем. Друзья, коллеги или же просто соседи судят человека только по одному критерию – они всегда спрашивают, что он сделал, – но никогда не судят о нем по его внутреннему содержанию. Но не хочется, чтобы тебя оценивали, хочется, чтобы тебе доверяли. Душа может расцвести только тогда, когда человек чувствует, что ему верят.

Этот вопрос веры был основой размышлений философа Феликса Вельтша, считавшего «решение, основанное на вере» фундаментом всей этики. Никто не может доказать, что в мире есть некий смысл или что его сотворение является результатом работы доброго и злого разума. Можно принимать или отвергать такую точку зрения, но доказать это невозможно. Можно утверждать, что добродетель самого человека может быть принята или отвергнута без всяких доказательств. Здесь невозможно идти по пути доказательств: о многих людях зачастую возникают взаимоисключающие суждения, и часто самое полезное исходит от людей с нечистой душой. Таким образом, первый конфликт, когда усилия заставить поверить в себя своих близких остаются напрасными, влечет за собой последующие конфликты, возникающие на протяжении всей жизни. Пожатие плечами по поводу инфантильности тех, кто вовлечен в первый конфликт, не так уж оправдано, как это кажется на первый взгляд. Эти «непрактичные» люди, может быть, укорачивают длинную цепь

сомнений и разочарований, которые ни к чему не приводят; они не только более чувствительны, но и ближе к глубокому пониманию вещей. В случае «инфантильного» поэта Клейста его инфантильность не была слабостью. Это было лишь более серьезное понимание фатальной основы существования, где один настроен против другого, никто не доверяет другому, но внутренне полагает, что другие верят ему. Сколько волнующих ситуаций описал Клейст, когда персонаж, попавший в позорную ситуацию, когда все обстоятельства против него, с чистой совестью требует, чтобы его не судили строго. Я даже чувствовал, что все произведения Клейста сосредоточены именно на одном вопросе. Идеально демонстрирующим его концепцию персонажем является Катхен фон Гейльбрун. В то время как Катхен верит своему рыцарю, Пантесилея хочет, чтобы Ахилл почувствовал ее любовь, хотя все ее осуждали. «Только ты не переставай мне верить», – были ее последние слова. Алкмена стоит на коленях перед мужем, который пинает ее, Ева в «Разбитом кувшине» стоит перед своим женихом, весьма жестоким князем Гамбургским, – они невиновны, и уже не в силах ничего сделать, чтобы их возлюбленные поняли их необычайную любовь. Для Клейста такие ситуации имели огромное значение. Он, с точки зрения окружающих, был столь безнравственен, что писал стихи вместо юридических документов, но, несмотря на его «ничтожество» и «легкомыслие», его близкие все-таки осознавали, что он – честный человек. Один из самых волнующих сюжетов у Клейста был, например, такой: маркиза фон О. забеременела. Она не знала, как это произошло, медицинские показания дали положительный результат, но она была невинна. Клейст очень изобретательно подбирает обвинения против своей героини, словно палач-инквизитор, обкладывающий хворостом столб, к которому привязан мученик. Потом словно расходятся тучи, и открывается невинность, сверкающая белизной, подобно искрящемуся на солнце снегу. Отсюда и невероятный пафос в сцене, где отец маркизы фон О. понял чистоту души дочери и умоляет ее простить его. Какая смелость руководила пером автора! Он задолго до Фрейда написал слова, которые невозможно читать без потрясения, настолько автор проникает в суть человеческой натуры.

«Дочь неподвижна на руках отца, ее голова откинута назад, глаза плотно закрыты… Потом отец сидит в кресле, в его больших глазах блестят слезы, он долго, горячо и жадно целует ее, словно возлюбленную. Дочь ничего не говорит, отец хранит молчание. Он сидит, склонившись над дочерью, будто над своей первой девушкой, которую впервые в жизни полюбил, и все целует и

целует ее…»

Как часто Клейсту приходили видения, когда волшебные детские желания становились реальностью. Как часто являлись ему подобные мечты! В произведениях Франца Кафки есть схожие черты с работами Клейста. В частности, это относится к его прозе. Эта схожесть – не простой эмоциональный отклик писателя, на который мы не раз уже обращали внимание. Это глубокая внутренняя близость основополагающих взглядов двух людей. Эта близость в высшем смысле слова была настолько сильна, что выражалась даже в портретном сходстве писателей – в их мальчишеском облике, в чистых чертах лица. И в работах Кафки мы находим идею «ответственности за свою семью». Это объясняет смысл таких рассказов, как «Метаморфозы», «Приговор», «Кочегар», и смысл многих отрывков из других произведений. Использование художественных символов, которые в то же время являются реалиями жизни, – характерная черта стиля обоих авторов. Образ благородной женщины, которая на глазах у своей высокопоставленной семьи превращается в обесчещенную мать-одиночку, не так далек от образа сына, который трансформируется в презренного паразита (рассказ «Метаморфозы»).

Связь с детскими воспоминаниями, с семьей является очень важной для творчества Клейста и Кафки. Для Клейста характерны прусские традиции, на которые оказала влияние кантианская система, на Кафку подействовала еврейская этика, получившая новую жизнь в результате обогащения другими этическими учениями. Как-то я сказал Францу, что на своем портрете Клейст выглядит как ребенок. На что Кафка ответил: «Я тоже никогда не вырасту до такой степени, чтобы стать мужчиной, и я внезапно превращусь из ребенка в седовласого старца». Он часто подчеркивал и отмечал в своем дневнике, каким юнцом он всегда выглядел. Одно время он был не совсем уверен в своих сексуальных способностях. То же самое рассказывал о себе Клейст. Затем оба они считали себя обязанными доказать своим близким, что не являются ничтожествами. Франц терпеть не мог какую-либо «опеку» и очень страдал, когда родители посылали ему еду в Берлин в последний год его жизни голодной зимой 1923 г. Высшую жизненную цель Кафки нельзя лучше описать, чем словами Клейста: «Обработать поле, посадить дерево, вырастить ребенка». Но оба они были далеки от жизни сельского труженика. Можно провести и дальнейшие аналогии, и не исключена возможность, что Кафка изучал стиль Клейста. Оба они знали «путь назад», в детство, и часто с удовольствием туда отправлялись. И для Кафки, и для Клейста характерны

кристально чистый стиль и реалистичность в изложении деталей. У обоих авторов о неразрешимом и тайном говорится необычайно ясными и простыми словами.

Глава 2
Университет

«Слова вылетают у него изо рта как барабанная дробь» – это замечание Кафки нашел я в своем дневнике. Кафка описывал такими словами одного человека – забыл какого, – который говорил не переставая.

Прочитав этот маленький фрагмент, я чувствовал изумленное восхищение – настолько мне нравился стиль Кафки. Для него же в этом не было ничего необычного, и он выражал себя, используя свою наблюдательность и дар подбирать точные сравнения. При этом ему была свойственна очаровательная естественность. Тот, кто общался с Кафкой, не мог обнаружить ни тяжелого отпечатка мрачных детских впечатлений, ни декадентских или снобистских устремлений, которые могли бы избавить от депрессии, ни мятущейся или раскаивающейся души. Все, что высказал Кафка в «Письме моему отцу», на самом деле не лежало на поверхности, а выражалось лишь намеками или в самых сокровенных беседах. Только я знал о его великих печалях и, насколько мог, их понимал.

Внешне же Кафка производил впечатление тихого, пунктуального молодого человека. В нем не чувствовалось интереса к патологическому, или к странностям, или к гротескности, но ощущался интерес к здоровому, надежному, простому.

Я много раз имел дело с обожателями Кафки, которые судили о нем только по его книгам. Они полагали, что он был печален и даже испытывал чувство безнадежности. На самом деле все было наоборот. С ним было хорошо. Он излагал свои глубокие мысли веселым тоном и был одним из наиболее забавных людей, каких я когда-либо встречал, несмотря на его застенчивый и тихий нрав. Он говорил очень мало. Когда вокруг было много народу, он мог часами молчать, но стоило ему заговорить, все немедленно начинали слушать, потому что все его слова были полны значения, и зачастую он воодушевлялся и увлекался темой разговора. Когда мы с ним разговаривали, не было конца нашим шуткам и смеху – он любил хороший задушевный смех и знал, как развеселить своих друзей. Кроме того, если кто-то испытывал затруднение, он мог без колебаний положиться на Франца, попросить у него совета, Кафка в таких случаях бывал очень деликатен. Он был удивительно отзывчивым товарищем. В ситуациях, когда он сам бывал беспомощен и растерян, он писал

в дневнике о том, что его тревожило. Дневник Кафки производит одно впечатление, книги – другое, поэтому восприятие Кафки у читателя не совсем объективно. Это и послужило одной из причин, по которой я решил написать мои воспоминания.

Я познакомился с Францем Кафкой в первый год моего пребывания в университете, в 1902/03 г., где-то в начале зимы. Франц, который был старше меня на год, учился в то время на втором курсе. После окончания школы он две недели занимался химией, затем некоторое время – немецким языком, после этого изучал право. К нему он не питал особого интереса, как и большинство из нас. План изучать немецкий язык в Мюнхене вместе с Паулем Кишем так никогда не был осуществлен. Кафке не нравилось изучать право, которое было навязано еще в школе, и он не пытался этого скрывать. Я нашел запись в его дневнике (за 1911 г.): «Из старых записок: сейчас, вечером, после занятий с шести утра, я заметил, как моя левая рука стала судорожно сжимать пальцы на правой».

В «Письме отцу» Франц пишет о том, что выбрал свою профессию с ощущением давления своего отца, с ощущением «главной цели». Кафка писал: «Для меня не было настоящей свободы в выборе профессии, и я знал: по сравнению с главным это так же безразлично, как и предметы, которые я изучал в средней школе, и поэтому речь идет только о том, чтобы найти профессию, которая дала бы мне возможность, не слишком ущемляя мое тщеславие, проявлять такое же безразличие. Таким предметом оказалось право. Слабые, противодействующие этому выбору порывы тщеславия, такие, как двухнедельное изучение химии, полугодовое изучение немецкого языка, только укрепляли мое убеждение. Итак, я стал изучать право. Это означало, что в течение нескольких месяцев перед экзаменами, тратя нервы, я интеллектуально питался буквально опилками, к тому же пережеванными до меня уже тысячами ртов. Но в некотором смысле это пришлось мне по вкусу, как в некотором смысле было мне по вкусу школьное обучение, а затем канцелярская служба, поскольку все это соответствовало моему положению. Во всяком случае, у меня было замечательное предвидение – в детстве я достаточно ясно представлял, какими будут моя учеба и профессия. Я не ждал от них никакого избавления и не имел никаких надежд».

Оба из нас чувствовали себя честными только тогда, когда занимались творческой работой. Мы были слишком далеки от взгляда на искусство как на заработок. Не было никого, кто бы показал нам, по какому пути нужно идти. Нас никто не направлял, и у нас обоих не было и мысли, что можно заняться

чем-то другим, кроме нелюбимой нами учебы. Правда, у Кафки была смутная мысль о том, чтобы «уехать из Праги и заняться чем-то другим».

Мы впервые встретились в «Лекционном зале для немецких студентов» – клубе, находившемся в ту пору на улице Фердинанда, теперь Народной. Каждый, принятый в германскую среднюю школу, – как жители Праги, так и приезжие из провинции, – становился членом этого большого студенческого союза, если, конечно, студент не был антисемитом или активно не заявлял о себе как о еврее (сам я увлекся сионизмом лишь через десять лет). «Зал» принадлежал немецкой партии свободы. Мы не носили головных уборов, но надевали черные, красные и золотые ленты ко дню революции 1848 г. Но как поблекла к тому времени память о той революции! Самым важным в составе этого клуба был комитет, между ним и членами «Зала» существовал некоторый антагонизм, временами происходили «баталии», которые неизменно заканчивались потасовкой. На общее собрание члены комитета приходили в форменной одежде, они носили отличительные знаки, а их принадлежность к «Залу» отмечалась лишь свободно повязанными галстуками. В отношении жизни клуба они себя больше ничем не обременяли. На голосование они являлись полным составом и голосовали единогласно по списку комитета – к нашей досаде, которую мы испытывали каждый раз по поводу этой «избирательной машины», действовавшей в точном соответствии с планами ее великого тактика – Бруно Кафки. Что касается дебатов, то члены комитета не принимали в них участия, а жалобы, исходящие от «презренных зябликов» – так назывались те, кто не носил формы, – как бы они ни были справедливы, их не интересовали. Они удовлетворялись тем, что оповещали о своих бесповоротных намерениях громогласно и решительно, будто рассекая воздух хлыстами. И комитет стоял непоколебимо на своих позициях.

Франц не испытывал интереса к этим детским амбициозным играм, но впервые я услышал его мнение о Бруно Кафке лишь много лет спустя – как выражение восхищения энергией этого человека.

Центром сопротивления комитету как сборищу «игроков и болельщиков» была «Секция литературы и искусства» – «носителей духовности», которая вела самостоятельную жизнь и зависела от комитета только в финансовом отношении, что приводило к ожесточенным ссорам. Например, я помню конфликт по поводу гонорара для Детлефа фон Лилиенкрона, приглашенного читать лекции в Праге. В этой секции регулярно проводились дебаты и чтение докладов. На одном из заседаний я,

придя прямо с занятий, прочитал свой доклад «Шопенгауэр и Ницше», который произвел некоторый переполох. Будучи рьяным приверженцем Шопенгауэра, я говорил о Ницше как о «мошеннике». (Кстати, у меня до сих пор осталась антипатия к Ницше.)

После этого доклада Кафка, который был на год старше меня, пришел ко мне домой. Он и раньше принимал участие во всех встречах в Секции, но до тех пор мы мало обращали внимания друг на друга. В самом деле, его было трудно заметить, поскольку он редко открывал рот, и его внешность не бросалась в глаза, даже несмотря на его элегантную одежду, в основном темно-синего цвета. Но мне кажется, в тот вечер что-то привлекло его внимание, и он был более общителен, чем обычно. Как бы то ни было, наш нескончаемый разговор, когда он пришел ко мне домой, начался с его резкого порицания моего чересчур прямолинейного взгляда на вещи. Затем мы стали говорить с ним о наших любимых авторах и защищали их от нападок друг друга. Я был горячим почитателем Мейринка. В школе я был поклонником классики и отвергал модерн, но в старших классах я сделал крутой поворот и стал в стиле «бури и натиска» поклоняться экстравагантному, необузданному, бесстыдному, циничному, язвительному. Кафка противостоял мне со спокойствием и мудростью. Он не читал Мейринка[4]. Тогда я стал с жаром цитировать ему отрывки. В «Пурпурной смерти» Мейринка бабочки сравниваются с открытыми страницами волшебных книг. Кафка лишь покачал головой. Такого рода творения он считал слишком искусственными. Он отвергал все бьющее на эффект, претендующее на интеллектуальность, искусственное, хотя сам никогда не вешал таких ярлыков. В нем было нечто вроде «нежно шепчущего голоса природы», о котором говорил Гёте, и он любил слушать других авторов. В противовес мне Кафка процитировал из Гофмансталя: «запах сырости в зале повис». После этого он надолго замолчал, будто эти неявные, неправдоподобные строки говорили сами за себя. Это произвело на меня такое впечатление, что я помню до сих пор и улицу, на которую выходили окна, и дом напротив. Многие могут обнаружить в трудах Кафки родство с такими авторами, как По, Кубин, Бодлер, певцами «ночной стороны жизни», но их удивило бы, если бы они узнали, сколько было в нем простоты и естественности и как он вывел меня из беспорядочного и смятенного состояния духа, вызванного детски-наивным, преувеличенным чувством собственного достоинства. Неоспоримым документальным свидетельством может послужить первое письмо, которое написал мне Кафка. Не могу привести

точную его дату, поскольку потерян конверт, но, должно быть, это было перед 1906 г., когда Кафка получил степень, поскольку он бегло упомянул о лекциях[5].

Оно даст читателю некоторое представление о благородном характере Кафки, его готовности понять взгляды другого, терпимости, строгости по отношению к себе. В этом письме можно увидеть, как мягко он поставил меня на место.

«Дорогой Макс!

Из-за того что меня вчера не было на занятиях, я посчитал необходимым объяснить тебе в этом письме, почему я не пришел к тебе вечером, хотя и обещал это сделать.

Прости меня, я хотел доставить себе удовольствие и познакомить тебя с Пр., но ты стал отпускать язвительные замечания в его присутствии – ты имеешь обыкновение делать это в компании, – и он дал тебе достойный ответ.

У тебя есть круг знакомых, который наносит тебе вред, потому что представляет тебя в карикатурном виде. Твое окружение напоминает собой толпу. Толпа друзей хороша лишь при революциях, когда участники ее сплоченно играют свою роль, но как только забрезжат солнечные лучи, они гасят их. У тебя была хорошая мысль показать свою картину «Ландшафт на рассвете», но твои друзья решили, что «Волчье ущелье» подходит больше, и высказались за него. Конечно, ты написал обе картины, и все это признают, но что касается «Ландшафта», что за беспорядочные тени на лугах, а над полями летают какие-то грязные птицы?!

Хочу сказать о твоих суждениях. Ты время от времени говоришь нечто вроде: «Посмотри на Флобера! Его творения – сентиментальный вздор!» Как бы я был тебе неприятен, если иногда поступал бы так же. Если бы, допустим, ты сказал: «Как прекрасен «Вертер»!» – а я бы ответил: «Но если говорить правду, то там – одна сентиментальная чепуха». Это было бы смешным и невежливым замечанием, но поскольку я – твой друг, то я не желаю тебе зла, я лишь хотел сказать тебе свое мнение.

Я написал тебе это письмо, чтобы ты не печалился из-за того, что я не пришел к тебе вечером. С дружеским приветом.

Твой *Франц К.*

Не убирай пока это письмо. Я прочитал его еще раз и понял, что не все в нем достаточно ясно. Я хочу написать еще. Как хорошо, что ты можешь быть беззаботным и спокойным, когда устаешь, и можешь получить то, чего хочешь, без каких-либо усилий со своей стороны, но лишь с помощью своих друзей-единомышленников. Все эти мысли относятся к Пр. и показывают

тебе, каким бы я не хотел тебя видеть. Теперь все».

Абсолютная правдивость была одной из самых главных черт характера Франца. Другой его характерной чертой была обостренная совесть, Conscientia scrupulosa[6]. Она проявлялась во всех вопросах нравственности, в которых он не терпел ни малейшей несправедливости. У нас с ним были дебаты по поводу Талмуда. Он относился к нему с той же чуткостью, но в то же время многого в нем не понимал на протяжении многих лет. Об этом наглядно свидетельствуют многие работы Кафки, например рассказ «Бегуны», в котором сравниваются различные обстоятельства, вынуждающие одного человека бежать за другим темной ночью, или роман «Процесс», в котором под разными углами зрения рассматривается легенда «Перед судом».

Иногда Франц бывал очень нерешителен и преувеличенно серьезно относился к различным вопросам, например к женитьбе. В то же время он был смел и решителен, когда дело касалось его самого: был хорошим наездником, пловцом и гребцом. В нем не было трусости, но было очень развитое чувство ответственности. Я помню вечер после того, как была опубликована новость о том, что Италия объявила войну Турции. Мы были в театре. Франц был необычайно взволнован. В антракте он неожиданно сказал: «Теперь итальянские боевые корабли расположились возле непобедимых берегов». Он произнес это с печальной улыбкой. Положение современного человечества казалось ему безнадежным. Но при его глубоком пессимизме нельзя было не заметить его радости при виде здоровых и добрых явлений, его интереса к разного рода реформам: к новым методам оздоровления, обучения и т. д. Что касается авторов «тьмы», декадентов, то к ним он, как я уже сказал, не проявлял особого интереса. Его привлекали простые, без вычурностей, формы описания жизни. Среди его любимых книг были «Индейское лето» Стифтера и «Маленькое сокровище» Хеббеля. В нем сочетались чувство безнадежности и любовь к творческому, конструктивному, и одно не противоречило другому.

В его описаниях можно увидеть тягу к точности и обостренное восприятие происходящего. Он любил детали. Под его влиянием я написал длинную повесть, изобилующую подробностями, которую озаглавил «Тысяча удовольствий», – мы с Францем иногда называли ее «Счастливцы». Франц очень радовался, когда я читал ему новые главы, и понуждал меня продолжать. Я закончил книгу, но напечатал в журнале только одну главу – «Опьянение книгами», в которой содержалось описание университетской библиотеки, поскольку, в конце

концов, несмотря на протесты Кафки, произведение показалось мне ужасным. Любовь Кафки к доскональным описаниям была очень велика. Для него не было ничего незначащего, второстепенного.

Он был так же справедлив к своей работе, как и к любому жизненному проявлению. Именно поэтому у того, кто был рядом с ним, никогда не возникало ощущения чего-то грубого и упрощенного. Говорят, что такое впечатление производят святые отцы; и жизнь рядом с Кафкой убедила меня в том, что сложившаяся о нем репутация имела под собой реальные основания. Святость – единственное правильное слово, которым можно оценить жизнь и работу Кафки. Однако я не имею в виду, что он был подлинным «святым» в собственном смысле слова. Но все указывало на то, что он был на пути к этой вершине. Его искрящееся очарование и в то же время скрытность, которые выглядели одновременно и естественно и неестественно, его смятенная самокритика имели под собой определенную основу. Кафка не применял к себе обычных человеческих стандартов – он оценивал себя с точки зрения конечной цели человеческого бытия. И это во многом объясняет его нежелание публиковать свои работы.

О святости Кафки свидетельствовала также его абсолютная вера. Он верил в мир Справедливости, он верил в некую Неразрушимость, о чем свидетельствует множество его высказываний. Мы слишком слабы, чтобы понять этот реальный мир. Но он существует. Справедливость царит повсюду. Ее отсветы блистают сквозь серую паутину обыденности. Именно поэтому Кафка был так внимателен к каждой детали, к каждому проявлению реальности. В его дневнике можно найти множество страниц, описывающих характерные черты обыкновенных людей, например пассажиров поезда, – и все эти описания насквозь пронизаны иронией. Даже в самых страшных сценах («Колония», «Процесс») присутствуют грустная усмешка, интерес исследователя и добрый юмор. Этот юмор, являющийся неотъемлемой частью жизни и творчества Кафки, свидетельствовал о присутствии божественной сущности в окружающей реальности. Его вера в эту сущность никогда не выражалась ни формулами, ни обычными эмоциями, а проявлялась во всех его поступках, и именно они придавали ему глубокую внутреннюю уверенность. Внешне же он описывал себя и других в свете крайней недостоверности, что окутывало его такой мягкой аурой уверенности, которую я редко у кого-либо встречал.

Кафка был прекрасным слушателем, читателем и критиком.

Он во всем искал главное, хотел выявить правду. Его могла вдохновить газетная статья. Он мог со страстным энтузиазмом расширить эпизод до драмы. Я помню, как мы с ним были в Шелезене в пансионе Штудла, он взял новеллу Охнета из библиотеки пансиона и с большим энтузиазмом прочитал мне отрывок – разговор, – который восхитил его своей жизненностью. Некоторые фрагменты музыкальной комедии или обычного художественного фильма, которые были наиболее удачны и отражали жизнь, будто зеркало (вероятно, Муза на время отбирала у авторов перо и писала некоторые строчки сама), вызывали слезы на глазах Кафки. В своем творчестве он был независимым исследователем, и у него не было тяги к историческим и литературным классификациям.

Он непредвзято судил о людях. У него не было предубеждений, вызванных устоявшимся мнением. В его суждениях не было ничего парадоксального, они отличались простотой, естественностью, ясностью. Он рассуждал уверенно, даже категорично, хотя и проявлял некоторую осторожность в своих высказываниях.

В людях, которые не пользовались уважением у окружающих, он находил замечательные черты. Никто не мог вывести его из терпения. В великих людях, которыми он сам восхищался, он находил смешные черты. Но, отмечая эти черты, Кафка отнюдь не стремился осмеять этих людей, он лишь подшучивал над ними с тихой грустью и сожалением. Его любовь к Гёте и Флоберу не иссякала на протяжении всех двадцати лет нашего с ним знакомства. У таких авторов, как Хеббель и Грильпарцер, Кафка больше любил дневники, чем литературные труды, хотя, возможно, это мне лишь так казалось. Я никогда не слышал от него неуважительных замечаний по отношению к великому, никогда не слышал пустой похвальбы. Можно с уверенностью сказать, что Кафка очень ясно представлял себе различие в рангах человеческого общества. Но он знал к тому же, как легко с божьей помощью (или по дьявольской прихоти) преодолеваются эти различия, и наблюдал за подъемами и падениями людей с таким пониманием, которое могло показаться фантастическим.

Его точность не была следствием некой скрытой боязни и не была педантизмом, как у Золя. Это была точность, присущая гению, – она сначала потрясала и поражала, будто незаметная тропа, которую вряд ли кто-либо ожидал увидеть. Но, вступая на эту тропу, читатель идет по ней с изумляющей последовательностью до конца – но не с боязнью заблудиться, а с чувством уверенности в дороге.

Он никогда не говорил: «Посмотри, это – верный путь» или

даже: «Это тоже подходящий путь». Он просто шел по этому пути твердыми шагами, будучи реалистом, не злоупотреблял философскими терминами (о чем наглядно свидетельствуют его дневники), поглощенный наблюдением за деталями, скрытыми от обычного взгляда.

Странность самого Кафки и его произведений – лишь кажущаяся. Те, кто считает, что основной чертой Кафки была причудливость и эксцентричность, не понимают его или находятся лишь на начальной стадии его понимания. Его «странность» была настолько индивидуальна и ненавязчива, строга и полна любви, что освещала вещи неожиданно ярко и оказывалась не чем иным, как одной только правдой. Такими же были его взгляды на жизнь, моральный долг, путешествия, произведения искусства, политику; в его суждениях не было никаких причуд, они были точны, разумны, проницательны и в конечном итоге более соответствовали «практической жизни», чем обыденные высказывания.

Никто так не контрастировал с Кафкой, как Бальзак, с его поддельной точностью, преувеличениями и обобщениями (напишу несколько слов в его стиле: «Она шла той легкой походкой, которой каждая парижанка прогуливается по улице между десятью и десятью пятнадцатью утра»).

Излишне говорить, что Кафка обожал Бальзака. Для него не были лишними многочисленные подробности, которыми полны произведения этого автора. Кафка однажды сказал: «Бальзак добивался эффекта с помощью лозунга: «Я разрушаю все препятствия», – мой же лозунг: «Каждое препятствие разрушает меня».

Здесь можно было бы привести длинный список высказываний, в которых Кафка говорит о своей слабости. Обсуждая такую его черту, как точность, я показал лишь одну его сторону. Даже если продолжать и продолжать описывать его характер, все равно нельзя прийти к конечной цели. Это все равно что идти вдоль стены без дверей и так и не найти вход в само здание. Но даже если бесконечные и напрасные объяснения и обрисуют хотя бы слегка личность Кафки, все равно тема будет неисчерпаема. Примерно таким же методом пользовался сам Кафка, придавая своим персонажам некоторые черты, которые так и не объяснял до конца.

Конечно, я мог бы рассказать о том, как складывалось мое мнение о Кафке и как оно совершенствовалось с течением лет, как все начиналось и как развивалось. Скажу только одно: вначале наши отношения развивались очень медленно и лишь по прошествии нескольких лет мы по-настоящему сблизились.

Началось с того, что мы решили вместе заниматься греческим. Мы с ним читали «Протагора» Платона, пользуясь словарем, что было, конечно, сложно. В то время я не слишком хорошо понимал мысли Платона, осознание пришло ко мне гораздо позже, после смерти Кафки. Нас занимали лишь живое и поверхностное описание софистов и платоно-сократовская ирония. Если Платона я читал по собственному побуждению (я обращался к этому величайшему гению в различные периоды своей жизни), то мое внимание к Флоберу привлек Кафка, за что я ему очень благодарен. Большую любовь к Флоберу я унаследовал от него. Мы читали «Воспитание чувств» и «Искушение святого Антония» в оригинале. Поскольку мы могли найти время для чтения всего лишь два или три раза в неделю, то занимались этим на протяжении нескольких лет. Наши чтения проходили обычно в маленькой комнате Кафки в доме его родителей (на Цельтнергассе), а иногда и у меня. Над столом Кафки висела копия картины Ханса Тома «Пахарь». Рядом на стене висел гипсовый слепок, изображавший бычью ногу. Долгое время я изучал обстановку этой комнаты. Я описал ее в своей новелле «Царство любви», в которой Кафка предстал в образе Ричарда Гарты, жившего в скромно и даже скупо обставленной комнате. «Жить в этой комнате можно, но, может быть, она недостаточно удобна для тех, кто любит роскошь». Эта простая обстановка была у Франца всегда на протяжении всего его проживания в Праге: кровать, гардероб, маленький старый темно-коричневый, почти черный письменный стол с несколькими лежащими на нем книгами и множеством разбросанных в беспорядке записных книжек. Его последняя комната (на Никласштрассе) была с запасным входом через кухню и ванную комнату, которым Кафка обычно пользовался, потому что иначе он не смог бы отгородиться от остальных членов семьи, среди которых была не вполне здоровая обстановка и, бывало, возникали конфликты, которые его сильно удручали. В последние годы он пытался уйти от этой зависимости и снять себе комнату в другом районе. (Кстати, Пруст жил в одной и той же комнате с детства до самой смерти.)

Вышеупомянутая картина Тома, репродуцированная в Кунстварте, показывает, как сильно было влияние на Франца его друга по средней школе Оскара Поллака. Поллак увлекался книгами серии Кунстварта, издаваемыми Авенариусом, предприятие которого выросло потом в Лигу Дюрера. В университете Поллак начал читать химию. То, что Кафка две недели занимался химией, было, возможно, вызвано влиянием на него Поллака. Франц упоминал в своих письмах Поллаку о

присущих ему качествах лидера. Впоследствии Поллак ездил в Вену и Рим как историк искусства. Его основным интересом были барокко и современное искусство, и он создал впоследствии научные труды необычайной важности, необыкновенно подробно изучив источники. Молодой профессор пошел добровольцем на фронт в составе австрийской армии в 1915 г. и принимал участие в боях при Изонсо. Среди найденных после его смерти трудов были подготовленные к печати рукописи двухтомного сочинения «Искусство при папе Урбане VII», которые позже были изданы, так же как рукописи о периоде правления Иннокентия II и Александра VII, предварительная библиография путеводителей по Риму, коллекция материалов для монографии, посвященной Пьетро да Кортона, и многое другое. Одна из трагических нелепостей войны – то, что ученый, посвятивший значительную часть своей жизни итальянскому искусству, окончил свою жизнь под итальянской пулей! В газете «Нойе Цюрихе цайтунг» от 27 августа 1915 г. Д.А.Ф. Орбаан из Женевы воздал честь человеку, который погиб, «покрытый ореолом научной славы». Он писал: «Неудивительно, что мы так напряженно ждали публикации «Источников барокко». Мы знали, что наш блистательный коллега сам неоднократно бывал в Риме и непосредственно изучал первоисточники. Это составляло его преимущество, которым обладают далеко не все историки искусства, и их силы поглощены в основном работой в архивах и библиотеках. Мы видели его ранним утром в Ватикане после того, как он собирал материал в отдаленных местах Лациума. С таким же усердием, как при сборе вещественного материала, он мог подолгу сидеть перед горой книг в библиотеках или работал дома с антикварными рукописями, разгадывая трудные почерки и ломая голову над специфическими текстами старинных архитекторов и живописцев. Ученая беседа с Поллаком на тему происхождения барокко стоила того, чтобы потратить на нее время. Он достиг замечательных результатов в расшифровке коротких записей, встречавшихся в книгах торговых домов, потому что случайно в них можно было найти очень важную информацию о Джованни Лоренцо Бернини. Занимаясь кропотливой работой со старинными манускриптами, Поллак никогда не считал, что она бесполезна и никому не нужна, его переполняло чувство собственной значимости. Он был чрезвычайно серьезен и умел концентрировать все свои усилия на работе, но его научные занятия не мешали ему наслаждаться радостями жизни, которые в большей мере доставляла ему его жена, эффектная и остроумная женщина, прекрасно понимающая важность его труда. Кроме того, Поллак иногда проводил время в кругу своих друзей

и знакомых, которых было достаточно по всей стране».

Таким был человек, оказавший огромное влияние на Кафку в дни его молодости. Приведу также цитату из Хуго Бергмана (Богемия, 4 июля 1915 г.): «Широта его интересов была огромна. Он отдавался им полностью, забывая обо всем на свете. Так, он изучал Упанишады, Библию, Лютера, св. Франциска Ассизского, итальянских авторов эпохи Возрождения. Как непорочно он читал нам «Декамерона», так же он играл на гитаре, занимался различными видами спорта». Сам я слышал, что он был одним из первых, кто занимался лыжным спортом в Богемии.

Я помню Оскара Поллака молодым человеком, высказывавшим резкие суждения и хорошо знавшим свой внутренний мир. Несмотря на девятнадцать лет, он носил бороду. Он избавился от нее несколько позже вместе с некоторой резкостью и чопорностью, которые не позволяли общаться с ним легко и свободно. Поллака я также встречал в «Зале». Именно там он рекомендовал мне «немецкого Рембрандта». Его неосознанный еврейский интеллектуализм имел много общего с тевтонизмом, который корнями уходил глубоко в прошлое. Насколько я знаю, Поллак никогда по-настоящему не интересовался еврейским вопросом, а несколько позже и мы с Кафкой вернулись на нашу родную почву. Пылкая и чистая любовь к тевтонизму стала настоящей тевтономанией. Например, в одном из писем Кафки к Оскару Поллаку можно найти фрагменты, которые звучат несколько странно для знатоков стиля Кафки:

«Напротив виноградника, на дороге, в глубине долины, стоит маленький домик, первый и последний в деревне. Он – не старый, ему восемь или десять лет. Покрыт дом черепичной крышей. Дверь маленькая, через нее даже трудно выйти, но сделана она из крепкого дерева, ставни покрашены коричневым цветом и всегда закрыты – и в дождь, и в солнечный день. Дом еще необитаем. Напротив двери стоит тяжелая скамья, которая, похоже, уже старая. И если сюда придут однажды подмастерья со своими посохами и сумками за спиной, сядут, вытрут пот со лба и задремлют, я смогу увидеть милую, старую, мирную немецкую сказку».

В каждой детали этого письма обнаруживается влияние произведений искусства и художественных ценностей, пропагандировавшихся Кунствартом. На такого писателя, как Кафка, очень рано сформировавшего свою точку зрения, внешнее влияние не могло оказать продолжительного действия, но оно все же имелось в начале его творческого пути.

Письма Кафки Оскару Поллаку с 1902-го по 1904 г. наполнены желанием дружбы. Что касается нашей с ним дружбы,

то она развивалась особым образом. Кафка был более сильным партнером в нашей дружбе, но мы соблюдали равноправие. Удивительно, как мне удалось прочитать юношеские письма Поллаку, которые Кафка предполагал отослать адресату или прочитать ему сам при личной встрече. Нужно было буквально бороться с ним, чтобы заставить его показать одно из них. Не гордость, конечно, заставила его сопротивляться, а необыкновенная самокритичность. Процитирую отрывок из одного его письма: «Из нескольких тысяч строк приведу тебе немного. Большая часть из написанного мной кажется мне омерзительной. Иногда я просто считал невозможным это читать и понимаю тебя, если ты это отвергаешь. Но ты, должно быть, помнишь, как я стал увлекаться «творческой работой», то есть написанием выспренних слов. К тому же я был болен страстью к громким фразам. В своих записях я могу найти впечатляющие имена, которые я обнаружил в календаре. Для моей новеллы мне нужно было два имени, и я, в конце концов, выбрал те, которые подчеркнул, – Иоганн и Беата. Рената уже была выхвачена у меня из-под носа[7]. Это почти забавно».

В этом письме содержатся некоторые горькие замечания по поводу школьного товарища, обладавшего неограниченным запасом слов: «Его запас иронии был неистощим, и я пришел в отчаяние при виде того, как легко он с ним управлялся. Не было никакой надежды, что я достигну такого же мастерства, и я дал себе клятву, что больше никогда в жизни не буду так завидовать». За этим высказыванием последовала строгая самооценка: «Чего не было при написании того, что здесь есть, – так это усердной работы и настойчивости». В следующем абзаце он пишет: «Как мне недостает дисциплины! Если ты прочитаешь хотя бы половину этих записей, это будет достаточно для меня на сегодня. У тебя милая комната. Легкие огни от уличного магазина мигают и мгновенно исчезают. Я хотел бы, чтобы ты позволил приходить к тебе и читать по субботам, начиная со следующей, всего на полчаса. Мне предстоит упорная работа в течение трех ближайших месяцев. Кроме всего прочего, я знаю, что искусству нужна усердная работа больше, чем усердной работе – искусство. Конечно, я не думаю, что можно заставить кого-либо родить, но можно заставить кого-нибудь присматривать за детьми».

Не знаю, как Оскар Поллак принял труды, которые Кафка представил ему на суд, вызвали ли они у него такое же восхищение, как у меня, когда я читал их в первый раз. Интересы Оскара Поллака находились совсем в других плоскостях, чем интересы Кафки, погруженного в свой фантастический микромир.

Лично мне нравилась необычность и новизна интересов Франца. Первый друг его юности, так скоро покинувший Прагу, совершил великие дела во славу науки. Кафка хотел общения и писал: «Ничего нельзя сделать без другого человека», «Стать отшельником ужасно»; и в полемике, которая затрагивает каждого, можно произнести проповедь против «Крота», который стал символом позднего периода творчества Кафки. «Я знаю, что есть пара глаз, которая наблюдает за этим, и все от этого становится теплее и живее», – это были знаменательные слова молодого Кафки о своих дружеских чувствах, о которых я впервые узнал из его писем и о которых он сам ни разу не обмолвился даже намеком. Возможно, они не зашли бы дальше одной попытки подружиться и никогда бы не перешли в близкие отношения. Это мое предположение подтверждает позднейшее молчание Кафки (об этих чувствах нет никакого упоминания в дневнике). И все-таки следует признать, что Поллак оказывал на Франца большое влияние. Он исчезал то в деревне, работая там сельским учителем, то, позднее, в Риме, занимаясь научными изысканиями. Время от времени он показывал своим друзьям из нашего круга, посещавшим Рим, памятники архитектуры и рассказывал об их истории. Затем мы узнали страшную весть о его смерти, которая повергла нас в ужас.

На протяжении семи лет моего знакомства с Кафкой я не знал, что он пишет. Я сам уже опубликовал несколько произведений в газетах и журналах, моя первая книга появилась в 1906 г. Наверное, первый раз мой друг познакомил меня со своей литературной деятельностью, когда сказал мне о том, что послал небольшой рассказ в Вену на конкурс в газету «Цайт». Он послал его под названием «Небо над узкими улицами». Рассказ не победил на конкурсе и исчез.

Затем однажды, в 1909 г., он прочитал мне начало своего рассказа под названием «Приготовления к деревенской свадьбе». Фрагменты рукописи сохранились в ненапечатанном виде. Главного героя звали Рабан. В этом имени есть соответствие с именем самого Кафки[8]. Франц также занимался самоанализом в рассказе «Приговор», используя для этого персонаж под именем Бендеман. Рабан, как говорится в первой главе, покинул свою мастерскую и поехал повидать невесту, которая жила в деревне. В первой главе очень подробно, в сумеречных тонах описан дождливый день и редкие встречи со случайными знакомыми. Это выглядит необычно. Я был подавлен и одновременно восхищен[9].

У меня тут же сложилось впечатление, что это – не просто талант, но самый настоящий гений. Я загорелся страстным

желанием представить труды Кафки перед публикой. Это желание было сильней меня, и я ему не сопротивлялся, поскольку считал его правильным и естественным. Франц был против. Нельзя сказать, что он привык лишь к неодобрению, и это доказывает его участие в конкурсе, о котором я уже упоминал. Конечно, ему было приятно осознавать свои литературные успехи. Однажды я видел, как он был рассержен на некомпетентную критику со стороны «Альманаха» Лиги Дюрера. Вообще же его надежды и опасения были вызваны не заботами о литературной репутации, которая ему была, в сущности, безразлична, а совсем другими вещами. Все дела, связанные с публикацией, не вызывали у него большого интереса и не особо затрагивали его чувства. Он не беспокоился о том, чтобы опубликовать свои произведения, и это не было предметом его страсти.

Я упомянул его труды, которые еще не были тогда напечатаны в Берлине в еженедельнике «Геденварт», прибавив его имя к плеяде выдающихся авторов (таких, как Блей, Манн, Ведекинд и Мейринк). Эта публикация, должно быть, впервые представила широкой публике имя Кафки (9 февраля 1907 г.). Франц написал мне письмо, полное юмора, об этом его «карнавальном» появлении перед публикой. Он был несколько смущен тем, что его, ранее не печатавшегося, опубликовали в журнале, в котором были представлены прославленные имена. «Хорошо я станцевал этой зимой», – шутил Франц.

В 1909 г. некоторые прозаические произведения Кафки были напечатаны в журнале Франца Блея «Гиперион». (Блей очень тепло встретил мою первую книгу «Смерть мертвеца», а затем, когда он приехал в Прагу, я представил ему Кафку.) Второй напечатанной в Чехии работой Кафки были «Аэропланы Бреши» (28 сентября 1909 г.), которые появились в пражском ежедневнике «Богемия» 27 марта 1910 г. Третья публикация была в пасхальном приложении к «Богемии» от 27 марта 1910 г. Там под общим заглавием «Размышления» были напечатаны следующие произведения: «Возле окна», «Ночью», «Одежда», «Пассажир». Никто не написал ни одной заметки об этих работах, опубликования которых я добился с таким трудом.

В 1908 г. умер друг моего детства Макс Баумль.

С того времени наши с Францем отношения стали более близкими. Мы встречались иногда по два раза в день. Все это время Франц жил в Праге (лишь позже болезнь заставила его жить в сельской местности, в санаториях). Мы вместе с ним возвращались с работы. Я каждый день ждал Франца в два часа пополудни около «пороховой башни», на углу Гибернерской улицы. Поскольку Франц всегда приходил позже меня – у него

иногда была сверхурочная работа в конторе или он увлекался разговорами с коллегами, – иногда я уже хотел есть, так как мне приходилось его долго ждать, но весь мой гнев улетучивался, едва появлялась тонкая высокая фигура Франца. На лице у него бывала смущенная улыбка, и он прислонял руку к сердцу, как бы показывая этим: «Я невиновен». При этом он так трогательно спешил, что на него просто нельзя было сердиться. Мы шли с ним по Цельтнергассе к Старой площади, и не было конца нашим разговорам. Даже когда мы уже подходили к дому Франца, все равно мы еще долго стояли и продолжали говорить. После, вечером, мы снова бывали вместе.

В моей новелле «Царство любви» в образе Ричарда Гарты есть много черт Кафки. Тогда, через четыре года после смерти Кафки, я чувствовал, что не могу написать его объективную биографию. Только сейчас, когда после его кончины минуло уже тринадцать лет, я чувствую себя способным это сделать. Когда Франца не стало, я все равно продолжал с ним жить. Он существовал в своих правдивых словах, я точно знал, что он скажет в той или иной ситуации, что он подумает о том или другом. Я задавал ему вопросы и сам отвечал на них от его имени. Тогда я и почувствовал необходимость воскресить моего друга в живом произведении искусства, а не в историческом собрании дат и тщательно подобранных фактов. Я хотел возродить Кафку к жизни путем написания книги. Когда я писал эту книгу, Франц не был мертв, он жил и влиял на мою жизнь. Многим такое мое намерение может показаться странным, но просто никто не помнит, что Платон так же, хотя и более понятным путем, смог оживить Сократа, когда сделал его участником каждого диалога, написанного уже после его смерти.

Я хочу рассказать о первых книгах, к которым Кафка привлек мое внимание. Кроме уже упоминавшегося Флобера, Франц обратил мое внимание на Стефана Георга, дав мне два тома его сочинений, и на чудесный перевод китайской лирики, сделанный Гельманом, не сравнимый с более поздними переводами других авторов. В ненавязчивой манере Кафка сумел привлечь внимание своего друга (в романе он зовется Кристоф) к его любимым авторам в той манере, которая была ему присуща в наши первые годы дружбы и которая стала еще более выразительной после смерти Макса Баумля. Я не могу описать это лучше, чем сделал это в своем «Царстве любви»: «Гарта никого не убеждает, это – не его путь, и он не развивает никаких теорий, что ему тоже несвойственно. Он лишь снова и снова читает вам отрывки из своих любимых авторов бесстрастным голосом, четко выделяя интонации. Иногда на его губах появлялась улыбка, не веселая,

но скорее насмешливо-скептическая, когда что-то сильно огорчало его. Иногда что-то побуждало его использовать чуждые ему приемы в своей художественной экспрессии, но это были искания гения, и писатель не может их избежать. В этом случае требуется особое понимание и сочувствие, что придает автору силы. Он не спорил по этому поводу, он всегда смотрел ясно, и эта ясность была присуща его безграничному энтузиазму. Он никогда не пытался давить на Кристофа. Со своей стороны, Кристоф всегда воспламенялся от работ, которые Гарта показывал ему, и даже чувствовал, что должен защитить некоторые из них от самого Гарты. Все это происходило с благожелательной серьезностью, мы тактично воспитывали друг друга. В этом не было ни капли тщеславия или претенциозности, каждый из нас чувствовал, что в эти моменты мир становится простым и истинным. И именно это чувство освобождало нас от излишней гордыни, беспокойства или чрезмерного ощущения ответственности. Это было очень простое чувство – Бог здесь, и в нашей власти либо следовать за ним, либо, что было бы крайне печально, отвергнуть его. Но кто, кто бы мог решиться на это! Поэтому они радостно вступали в «Страну Духа», которая скрыта от миллионов сынов человеческих неожиданными случайностями, печалями, страстями, различными суждениями; но они открывали ее для себя совсем просто в ее сверкающем, дающем здоровье свете, в ее вечном величии, она лежала перед ними – величественно прекрасная.

Затем произошел решительный перелом в ходе событий – первый друг Кристофа, проучившийся с ним все восемь классов средней школы, умирает. Через несколько дней после похорон Кристоф, скорбящий о смерти друга, идет вечером на прогулку с Ричардом Гартой. Рядом возвышается мрачный старинный замок. «Ты сможешь заменить мне его?» – спросил Кристоф запинаясь, испытывая сильную боль оттого, что задает такой невыносимый вопрос, и в то же время чувствуя, что этот вопрос можно оправдать. Наступило долгое тяжелое молчание. Они пошли по узкой улице, дул ветер, они шли бок о бок в полном молчании, и Кристофу казалось, будто рядом был его умерший друг, с которым умерло все его детство, – воспоминания о бесчисленных событиях, происшедших в школе, о первых впечатлениях и огорчениях, оставивших следы в душе. В школе дружба получалась сама собой, позже ее нужно было завоевывать, бороться за нее, и, в конце концов, даже это стало невозможно. Таков закон мира и людей… Вопрос Кристофа так и остался без ответа, и о нем больше не вспоминали. Но с той ночи рукопожатия друзей стали сердечнее и крепче».

Совместное чтение и разговоры о любимых авторах было первое, что нас сблизило, но этому прекрасному сближению предшествовало большое количество мелких, почти незаметных обстоятельств, дополнявших друг друга. Без ложной скромности могу признаться, что Кафка получил от меня больше, чем я от него. Моя инициативность и энергия были качествами, привлекавшими его ко мне. Глядя на вещи объективно, я вовсе не был так необдуманно смел и беспечен, как, возможно, это казалось Францу. Если бы я писал сейчас свою собственную биографию, то мог бы объяснить это в деталях. В данном случае достаточно лишь сказать, что по сравнению с Кафкой я был любителем приключений. О том, что восхищало меня в Кафке, я могу рассказать в подробностях. Вокруг него была необычайно мощная аура, которую я больше ни у кого не встречал, даже у очень важных и знаменитых людей. Я часто пытался анализировать это явление после смерти Кафки, поскольку, когда он был жив, оно казалось столь естественным, что мне никогда не приходило в голову думать об этом. Что было характерно для Франца, так это то, что он никогда не произносил ничего не значащих слов. Все, что от него исходило, выражало его особый взгляд на вещи – терпеливое, жизнелюбивое, ироничное восприятие нелепостей этого мира. Поэтому его полный печального юмора рассказ «Неразрушимый» далек от того, чтобы выражать цинизм. Да, это было так – в его присутствии обыденный мир претерпевал изменения, все становилось новым, поскольку, преломляясь через его восприятие, явления окружающего мира переставали быть скучными и банальными. Кафке был присущ необыкновенный дар наблюдения, большая точность. В его творчестве нет ничего произвольного, ничего «сюрреалистического»[10], а есть правдивость, протокольно точное и правдоподобное восприятие, что создает совершенно новую систему знания, – можно понять, что попытка познать мир и человеческую душу в мельчайших подробностях бесспорно оправдана и даже необходима в таких творениях Кафки, как «Великая Китайская стена» или «Процесс».

Вдобавок могу сказать, что не только на меня, но и на других Кафка оказывал такое же действие, которое я описал. Среди друзей в гостеприимном доме г-жи Берты Франты у Кафки была очень высокая репутация – просто благодаря его личным достоинствам, случайным остроумным высказываниям, – поскольку никто, кроме меня, в то время не знал о его литературном творчестве. Не было надобности в демонстрации его творчества, поскольку он сам по себе производил эффект и, несмотря на его застенчивость, в нем быстро угадали

неординарную личность. На протяжении всей жизни Франца к нему тянулись женщины. Хотя сам он сомневался в том, что имел у них успех, но этот факт неоспорим.

Интересны различные открытки, короткие письма и другая корреспонденция Кафки, в которых говорилось об отмене встреч, приносились извинения. Франц не имел готовых, стандартных формулировок для этих бытовых посланий. Поэтому даже обыденные его письма далеки от типичной формы изложения (эти письма относятся к периоду нашей учебы, сдачи экзаменов по праву, и более поздние – к началу нашей работы в конторе). Эти документы, на мой взгляд, являются свидетельством безгранично богатого духа их автора, никогда не уступающего рутине и стандарту. Вот некоторые образцы:

1

«Я почти удовлетворен тем, что наконец-то сейчас учусь, и поэтому не пойду в наше кафе на этой неделе. Я очень люблю там бывать и никогда не занимаюсь после 7 часов, но после развлечений такого рода я не могу учиться весь следующий день. Я не отваживаюсь так себя растрачивать. Поэтому мне лучше почитать вечером Кюгельгена[11], что будет великолепным занятием для умственного развития и хорошо для чтения на сон грядущий. С любовью.

Франц».

2

«Дорогой Макс!

Я чуть было не забыл об этом. Я должен сказать тебе, что не пойду завтра на выставку. Предпочитаю сидеть и заниматься. Сейчас было бы безответственно развлекаться, поскольку я надеюсь скоро получить докторский диплом. Как дела с «Аметистом» [периодическое издание Франца Блея, на которое мы подписывались]? Я уже приготовил деньги. Посмотри на выставке, можно ли купить что-либо интересное на такую маленькую сумму. Может быть, свадебный подарок?

Твой Франц».

3

«Сейчас, дорогой друг, я не смогу выйти ни на минуту. Декан оказался столь безответственным, что перенес мои выпускные экзамены на более ранний срок, а я не возражал, поэтому мне надо усиленно готовиться. С любовью.

Франц».

4

«Дорогой Макс!

Прости меня, пожалуйста, за вчерашний вечер! Я приду к тебе в пять часов. Мои извинения будут комичны, но ты в них поверишь.

Твой Франц».

5

«Дорогой мой Макс!

Я – совершенно бесполезная личность, но с этим ничего нельзя поделать. Вчера днем я послал тебе записку: «Умоляю тебя простить меня за то, что не смогу прийти к тебе сегодня вечером. У меня болит голова, ломит зубы, вдобавок у меня затупилась бритва, и я – неприглядный для наблюдения объект. Твой *Ф.*».

Сегодня вечером я прихожу, ложусь на диван и думаю о том, что извинился перед тобой. Вдруг вспоминаю, что в адресате указал Владиславскую улицу вместо Шаленской. (Адрес Оскара Поллака. Я жил на Шаленской. – *Примеч. авт.)*

Прошу тебя простить меня.

Твой Франц».

6

«Усиленной работой в конторе мы заслужили себе второй завтрак. Прости меня за то, что я не приду

сегодня, мне надо было кое-что сделать в воскресенье, а я не сделал, поскольку воскресенье так коротко. Утром кто-то спит, кто-то моет голову, вечером кто-то идет на прогулку. Я обычно использую воскресенье для того, чтобы прыгать с трамплина. Напиши мне, когда ты бываешь свободен, кроме четверга и пятницы. Всего наилучшего.

Твой Франц».

7

«Дорогой мой Макс!

Мы начали соревнование по ненадежности и непунктуальности. Конечно, я не надеюсь быть первым в этом соревновании, поскольку моя непунктуальность вызвана занятиями итальянским языком[12], а у тебя – страстью к развлечениям. Но если ты готов зайти ко мне (я полагаю, в среду?), ты сможешь это сделать. Но возможно, ты так непунктуален, потому что легче отложить визит, чем избавиться от посетителя.

Твой Франц».

8

«Мой Макс!

Я пошел по плохому пути, решив неделю ни с кем не разговаривать, хотя это и было необходимо. То, что ты не ответил на мое послание, свидетельствует, как ты бережно ко мне относишься.

Твой Франц».

9

«Мой дорогой Макс!

Это, конечно, неприятно, но моя прекрасная открытка – ведь это мой поцелуй, переданный тебе, – и на глазах у всего народа! Я полагаю, у тебя все гораздо лучше, чем мне кажется. Вчера я подумал, что в этом была лишь моя вина, но я посчитал, что это не имеет

особого значения, потому что впереди у нас целая жизнь. Однако если дела таковы, какими ты их описал, и я уже убедился в том, что именно так все и есть, то все равно настанет лучшее время, и ты, в конце концов, будешь на коне. Кроме всего прочего, у меня сегодня такое хорошее настроение, будто я заново начал жить, и твои письма немало этому способствовали. Что за прекрасная дружба должна быть у нас, если она начинается таким образом! Ты не должен пугать меня этой датой, потому что все равно ты получишь работу до этого числа или после, но «Служанка»[13] выйдет в любом случае, а что еще ты можешь пожелать? Ночью, конечно, хочется гораздо большего. Но утром?»

10

«Дорогой мой Макс!

Видимо, я не смогу прийти. Сейчас, утром, я думаю о том, что мне предстоит сегодня днем и вечером. Днем я должен пойти в контору, вечером мне нужно быть в магазине. У меня много дел, одна из помощниц больна, и отец неважно себя чувствует. Мне никак нельзя уйти из магазина раньше восьми, и, вероятно, я останусь там на ночь.

Прости меня, пожалуйста!»

11

«Мой дорогой Макс!

Видишь ли, все, кто мне нравится, злы со мной, за исключением одной, но и она меня не любит. История моего вчерашнего дня проста. Я был здесь до десяти часов и до часа дня был в баре. В полвосьмого, когда началась твоя музыка, мне показалось, я услышал бой часов. Мать и отец неважно себя чувствуют, дедушка болен, в столовой – полнейший беспорядок, и вся семья живет в моей комнате, будто цыганский табор. Сегодня днем я должен идти в магазин, и у меня не хватает смелости принести извинения Бауму. Не забывай меня.

Твой Франц».

12

«Дорогой Макс! Я точно помню об условленном. В субботу ночью, проходя мимо твоего дома, я сказал себе: «Я приду туда во вторник». Ты говоришь: «Приходи в среду». Я отвечаю: «Я устану, и я хочу повидать Пр.». – «Тогда приходи в четверг». – «Хорошо». Итак, я к тебе в четверг. В любом случае я в таком положении, что даже справедливые упреки с твоей стороны будут излишни».

13

«Дорогой мой Макс!

Ты доволен, что тебя нет дома – ты увиливаешь от тех маленьких добрых дел, которые мог бы для меня сделать. Я счастлив оттого, что смогу еще более настойчиво просить у тебя прощения и обратить мои извинения ко всему миру, если мне не удастся добраться до Баума до девяти вечера. У меня с ним возникли некоторые отношения. В понедельник, в пять часов, я приду тебя навестить. Если я отвлеку тебя от какой-либо работы, пожалуйста, откажи мне.

Твой Франц».

14

«Дорогой Макс!

Ты знаешь, что я занят работой, но, поскольку наступил Новый год, я могу передать часть своих забот другим. Я очень хотел бы увидеть тебя в 2.30 неподалеку от статуи Мадонны на площади и прошу, чтобы ты был пунктуален. Пожалуйста, сделай так, чтобы это было возможным!

Твой Франц К.».

15

«Дорогой Макс!

Написано это письмо на улице, поскольку толчки,

получаемые от прохожих, придают живость написанному.

Перед моими глазами – образ Паулы К. Вчера я видел ее несколько раз во всей красе. Сначала она немного постояла, потом, вся в белом, стала прогуливаться вдоль Гибернерской улицы вместе с молодым человеком, одетым в свободные брюки. Она оставила впечатление чего-то монументального: крепкие зубы, на правой щеке ямочка; лицо землистое, будто присыпанное золой, а отнюдь не пудрой. Несомненно, она выглядит так всегда. Я приду в четверг. Пожелай мне удачи в усердной работе.

Франц».

Если кто-то попытается привести устные высказывания Кафки, чтобы дополнить приведенные цитаты, показывающие гений Кафки, пусть сделает это. Но я бы хотел привести еще один пример.

Франц как-то пришел меня повидать после полудня – я тогда жил с родителями, – и его приход разбудил моего отца. Вместо извинения он необычайно мягким, успокаивающим жестом поднял руку и на цыпочках прошел через комнату. «Пожалуйста, считайте, что я вам приснился», – сказал он.

Однажды он пошел в Берлинский аквариум с дамой, которая потом мне рассказала, как Франц внезапно заговорил с рыбой: «Теперь я могу мирно на тебя смотреть, я тебя больше не ем». Это было в то время, когда он был твердым вегетарианцем. Если вы никогда не слышали, как говорил Кафка, вам трудно вообразить, как легко у него это получалось. Его речь была лишена искусственности и сентиментальности – эти черты были вообще ему чужды. В своих записях я нашел размышления Кафки о вегетарианстве. Он сравнивал вегетарианцев с ранними христианами, повсюду подвергавшимися гонениям и осмеянию и часто преследуемыми. «В обоих случаях высшее и лучшее распространено среди простых людей». В других изречениях Франца, записанных мной при его жизни, говорится: «Теософия – не более чем суррогат литературы» (слово «литература» было употреблено во флоберовском смысле – реалистическая литература). «Страхование подобно религии первобытных народов, веривших, что можно спастись от напастей различными манипуляциями». «Карл Краус ставит еврейских писателей в ряд и держит их в строгой дисциплине. Единственное, о чем он забывает, что с ним могут сделать то же самое».

Франц как-то сказал мне, что его «любимая мечта» – это «сидеть в лодке и плыть по просторной реке». Говоря о своих головных болях, о страшном напряжении в висках, он как-то сказал: «Это такое ощущение, будто у меня там трескается стекло». Говоря о слегка покрытых снегом елях, когда мы гуляли зимой в Шелезене, он сказал: «У них не бывает таких длительных головных болей, как у меня». В ту пору его волосы густого черного цвета стали седеть на висках. Об одной своей пьесе он сказал: «Единственное, что не является дилетантским в этой пьесе, – это то, что я не читаю ее тебе» (из воспоминаний о Франце Кафке Оскара Баума, Витико, 1929, часть 3). В начале 1911 г. я сделал запись: «В субботу Кафка пошел гулять просто так, безо всякой цели. Он сказал: «Каждый день я мечтаю оторваться от земли». «Со мной все в порядке, кроме самого меня». Он не работал. Днем Франц спал или рассматривал книги по искусству и альбомы о Музее Крафта. В компании он был весел, полон юмора, произносил непревзойденные по остроумию реплики. Когда его спрашивали, что является причиной его печального настроения и почему он не пишет, он отвечал: «У меня сотни дурных ощущений – некоторые из них опасны; правильные мысли или не приходят, или они очень слабы». Когда я заявил, что у пишущего иногда за никчемными идеями могут скрываться лежащие под ними благородные мысли, он ответил: «Это относится к тебе, но не ко мне. У меня только ненужные мысли». Есть запись другого разговора, произошедшего 28 февраля 1920 г. Кафка сказал: «Наши нигилистические мысли могут проникнуть в сознание Бога». В подтверждение этого я стал цитировать гностиков относительно Демиурга, как недоброго творца мира, и учение о том, что мир является грехом Бога. «Нет, – ответил Кафка, – я полагаю, что мы не являемся таким уж грехом Бога, мы – лишь плод его плохого настроения. У него был неудачный день». – «Так можно надеяться на то, что лежит за пределами этого мира?» Он улыбнулся: «Надежды – для Бога, безнадежность – для нас».

Но Кафка обнаруживал мощную интуицию не только в обсуждении таких высоких материй, она была ему органично присуща. То, что нам кажется странным в его замечаниях, было для него совершенно естественным и неизбежным. Он не мог по-другому говорить и писать. Кафке были присущи поэтическая мечтательность и склонность к парадоксально-юмористическим выражениям. Как-то он сказал о человеке, работавшем с ним в одной конторе, наполовину серьезно, в знак признательности, наполовину насмешливо: «Он не думает о том, сколько времени длится его рабочий день, – и тут же задумчиво продолжил: – Но

кто-то, возможно, мог бы его убедить, чтобы он следил за этим». Когда мы возвращались домой после ночных скитаний и уже наступило утро, послышались звуки пробуждавшегося города, Франц остановился, прислушался и сказал: «Сверчки метрополиса». Однажды, попросив меня кое-что для него сделать, он сказал: «Прости меня за это, поскольку я не могу простить себя». Одно из его последних высказываний тоже было парадоксальным. Когда лечивший его д-р Клопшток отказался дать ему морфий, он сказал ему: «Убейте меня, или вы будете убийцей».

Когда впервые у него пошла горлом кровь, предвещая туберкулез, он воскликнул (и с тех пор обычно употреблял эти слова для описания выхода из своего болезненного состояния, каким в то время являлся вопрос о планируемой женитьбе): «Моя голова назначила встречу моим легким у меня за спиной!»

Но как бы ни были точны цитируемые высказывания, они не дают полной картины того, какой эффект на окружающих производила личность Кафки. Потрясал не столько его ум, сколько глубокая уверенность, на которой он базировался, и умиротворенность, сквозившая во всех его движениях; ее реально чувствовал каждый, кто находился рядом с ним. Я вновь хочу процитировать своего Гарту: «В его присутствии каждый мог почувствовать, что великое не требует доказательств, оно проявляется само собой, даже если все обстоятельства оказывались против. Благородная основа мира оставалась нетронутой, несмотря на все бесчестья и извращения. Он не говорил об этом. Вообще он очень редко говорил о подобных вещах, а если решался на это, то высказывался весьма неопределенно, прибегая к скользящим легким образам, которые часто выглядели шуткой. Но все его поведение, включая малейшие детали, вплоть до манеры расчесывать волосы, основывалось на твердом убеждении, что существует справедливая, совершенная, чистая и непоколебимо естественная жизнь, и она не нуждается в доказательстве. Эта жизнь существует везде. Но найти, достичь ее – вот что трудно. Отрицать эти огромные трудности он не берется. Потому что видит путаницу и вульгарный комизм бытия более проницательно, чем кто-либо другой. Он знает, что никто не сделает ни шага без того, чтобы не запутаться в сложностях, чтобы не споткнуться. И в то же время это глубокая убежденность в том, что внутреннее совершенство сумеет все превозмочь».

Глава 3
Зарабатывать на жизнь или жить?

18 июля 1906 г. Кафка получил диплом доктора юриспруденции университета имени императора и короля Германии Карла-Фердинанда в Праге.

Он стал работать в суде, то есть проходить обычную неоплачиваемую практику, которой занимаются все юристы, желающие получить место адвоката. У Кафки никогда не было намерения делать карьеру юриста – он лишь использовал этот год как передышку после череды утомительных экзаменов и возможность поискать оплачиваемую работу. Он не хотел быть материально зависимым от родителей ни на один день больше, чем это было необходимо. Его отец никогда этого не понимал и считал такую точку зрения неправильной. В ту пору финансовое положение семьи было достаточно благоприятным. Но Франц сам хотел достичь благополучия. Однако что мешало Францу? Его энергия была направлена только внутрь себя и внешне проявлялась лишь в пассивном упорстве. В этом, может быть, и заключалась его фатальная нежизнеспособность. Он страдал и хранил молчание. К тому же не следует забывать об особенностях его дара, который нельзя было повернуть в практическое русло. Кроме того, ему мешало самобытное восприятие искусства. «Писать – это своего рода молитва», – записал он в дневнике. В самом деле, когда речь шла о выборе профессии, Франц решил, что его будущая работа не должна иметь никакого отношения к литературе. Занятие литературой как ремеслом он считал унижением самого творчества. Заработок и писательское искусство были для него абсолютно несовместимы. «Соединение» того и другого, как, например, в журналистике, Кафка отвергал. В таких случаях он с улыбкой объяснял: «Я не могу этим заниматься». Он оказал на меня влияние в выборе профессии, и я, так же как и он, несмотря на любовь к искусству, превозмогая душевные страдания, стал осваивать прозаическую, сухую профессию юриста и забыл о театре и музыке на многие годы. Сегодня я считаю строгость Кафки в этом вопросе благородной ошибкой и сожалею о сотнях проведенных в унынии часах, высшем даре Божьем, которые ускользнули от меня в пыльной конторе в полном состоянии моей безысходности. Я также скорблю о времени, потерянном Кафкой на его подвижническом пути.

Мы стали работать в конторе с раннего утра до двух или трех

часов дня. Это сейчас я легко пишу «или», а тогда от одного часа зависело наше самочувствие и душевное состояние. Работа в коммерческой фирме не оставляла времени для литературной работы, прогулок, чтения, театра и других подобных занятий. Даже когда мы возвращались домой в три часа, последующее время у нас уходило на еду, потом мы приходили в себя от выматывающей душу работы, расслаблялись, – и у нас оставалась лишь малая часть дня. Желанных контор, где работа продолжалась бы только до двух часов дня, было немного, это были в основном правительственные учреждения, которые при старом австрийском правлении были открыты для евреев, в исключительных случаях – только если у них были влиятельные связи. Не хочу вдаваться в подробности того, какие разочарования постигли нас в поисках подходящего места. Достаточно сказать, что Кафка после напряженной работы в коммерческой фирме «Assicurazioni Generali» в конечном счете в июле 1908 г. поступил на службу в полуправительственное учреждение Богемский институт страхования рабочих от несчастных случаев в Праге.

И в том и в другом месте у Франца были хорошие начальники, но, несмотря на стремление Кафки уделять больше внимания канцелярской работе, он не смог преодолеть свою страсть к художественному творчеству. Для того чтобы писать, ему нужно было много времени, чтобы иметь возможность сосредоточиться и настроиться на творческий лад. Для нашего творчества наступили очень неблагоприятные условия. О том, как мы страдали, я написал в стихотворении во время одного из наших совместных отпусков, его я посвятил Кафке. Франц пытался спать днем и писать ночью. У него это некоторое время получалось, но он страдал нарушениями сна и необычайной чувствительностью к звукам. Это его изматывало, и вдобавок он тратил последние силы на канцелярскую работу. От него там много требовалось.

Ему даже пришлось писать статью против небезосновательных нападок на социальное страхование. Он отметил в своем дневнике: «Написана софистическая статья одновременно и за институт, и против него». (Какая ирония судьбы в том, что ему в конце концов не удалось избежать журналистики!)

Я приведу ниже свое стихотворение, о котором уже упоминал.

Озеро Лугано
Францу Кафке

Распростерши изящные крылья,
Рядом с нами стрекозы летают.

Купающиеся в воде и сидящие у раскаленной солнцем стены,
Мы им кажемся скалами.
Над нами тянется дорога,
Покрытая белой известковой пылью.
На винограднике висят обильные гроздья, приветствуя нас.
И спускающаяся прохлада ласкает, как нежная женщина.

Наши тела покрывает загар щедрого солнца,
Но души, дорогой друг, не знают мира и довольства,
И их потрясают мысли и слова.
И хотя нас окружает красота,
Мы знаем, что недалек тот день,
Когда нас согнет безжалостная ноша[14].

Годы, проведенные мной на службе в почтовой конторе, на протяжении которых я писал «Тихо Браге», смутно запечатлелись в моей памяти, и я с трудом припоминаю детали. Все они втиснулись в брюхо подсознательного. Хотя, возможно, эти детали могут всплыть снова. Все, что осталось, – это сочувствие к неосознанному страданию рабочих людей, которые выполняли нудную, неинтересную работу, страданию, которое достигло фантастической степени в «системе Тейлора» и в конвейерной системе. Как вообще можно было ограничить эти мучения? Возможно, нам оставалось только мечтать об этом – уменьшить эти невообразимые страдания, – потому что в реальности они превосходили предел человеческого сопротивления и, к несчастью, и человеческой деградации. Я с полным одобрением относился к такому решению социальных проблем, которое предлагало равномерно распределить бремя труда между людьми, но мой собственный опыт подсказывал мне, что настоящая проблема лежит гораздо глубже – в вопросе радости труда, в проблеме счастья работы, собственного ремесла. Возможно, я скажу об этом еще несколько позже.

Однажды я после многолетнего перерыва пришел в страховую контору на Поржичской улице, где работал Франц Кафка. Как часто я приходил сюда его повидать, ходил с ним по пустым гулким коридорам. В тот раз я говорил с одним из

руководителей, который одно время работал с Кафкой. Этот господин сказал мне, что Франц Кафка был любим всеми, у него не было ни одного врага. Его верность долгу могла служить примером, работал он чрезвычайно добросовестно. Господин подчеркнул, что Франц Кафка решал вопросы, становясь на позицию оппонента. (Здесь очень уместно заметить, что его начальник не мог знать о том, что Кафка потом станет всемирно известен.) Еще он сказал, что в облике Франца была некоторая наивность, и рассказал мне историю, очень характерную для Кафки. «Однажды он пришел ко мне в тот момент, когда я ел бутерброд с маслом. «Как ты можешь есть этот жир? – спросил он. – Лучшая пища – это лимон». Отдел, в котором работал Кафка, занимался изучением методов предупреждения несчастных случаев и классификацией различных степеней риска.

Сам Кафка никогда не хвалил себя и не говорил, что прекрасно работает. Между тем его начальство очень хорошо отзывалось о его работе. Франц же всегда отмечал прекрасные знания и «одаренность» своего начальника – Маршнера – с восхищением и энтузиазмом.

Когда Кафка видел рабочих, покалеченных в результате несчастных случаев, его терзали муки совести, словно он сам был в этом повинен. «Как скромны эти люди, – однажды произнес он, широко раскрыв глаза. – Они приходят к нам с просьбами, вместо того чтобы взять приступом здание института и разнести его на мелкие кусочки, они приходят и просят».

В ежегоднике несчастных случаев института за 1909 г. помещена статья, которую Кафка написал как служащий этого учреждения. Конечно, Кафка не упомянул своего имени в этом отчете. Но я точно помню, что Кафка принес мне в тот год ежегодник и сказал, что это его статья. Его начальник сделал поправки к статье, но в ней ясно чувствуется стиль Кафки. Работник института, который был так любезен, что принял меня, показал мне также ежегодник за 1910 г. и сказал, что там тоже есть заметки, написанные Кафкой.

Вот выдержка из документа, которая мне кажется наиболее интересной:

«Следует показать разницу между квадратными и цилиндрическими шпинделями с целью предотвращения несчастных случаев. Резцы квадратного шпинделя прикреплены болтами непосредственно к шпинделю и вращаются со скоростью от 380 до 400 оборотов в минуту. Для рабочего представляет очевидный риск обширное пространство между резцом и поверхностью. Такие шпиндели продолжают использоваться,

поскольку не учитывается их опасность или из-за чувства неизбежности риска. Хотя в целях предосторожности рабочий может не прикасаться к детали, когда подносит ее к резцу, в целом риск остается. Рука даже очень осторожного рабочего может быть затянута к месту действия резца, например соскользнуть, когда рабочий нажимает на деталь одной рукой и другой подает ее к резцу. Невозможно ни предвидеть, ни предотвратить подъем и смещение бруска. Это может произойти из-за сучка или какой-либо другой неровности на бруске, недостаточно высокой скорости вращения резца, деформации его режущей поверхности или из-за неловкого давления руки рабочего на деталь. Эти случайности могут объединиться вместе и действовать как мощный кулак. Не только отдельные предосторожности, но и целый комплекс профилактических мер не могут противостоять этой опасности – не только потому, что, как уже было показано на практике, они не отвечают соответствующим требованиям, но потому, что, уменьшая опасность с одной стороны (автоматически прикрывая режущий желобок защитной наклонной плоскостью или сужая ширину режущего пространства), они увеличивают опасность с другой, не позволяя стружкам свободно выпадать из станка, в результате чего опилки забивают режущее пространство и рабочий может поранить руки при попытке очистить машину.

Но, поворачивая шпиндель в соответствии с методом, запатентованным Шрадером, вставляя его плотно под легким наклоном в резец и не создавая ему никаких препятствий, можно легко обеспечить достаточное пространство для того, чтобы стружки свободно сыпались из станка.

Наиболее важный вывод с точки зрения предотвращения несчастных случаев состоит в том, чтобы создать защиту от острого края резца, а эти резцы, являющиеся важной составной частью шпинделей, могут быть достаточно тонкими без опасности поломаться».

Ясно, что Кафка почерпнул из своей работы в институте множество знаний о жизни и приобрел скептические и пессимистические взгляды, входя в контакт с рабочими, страдающими от несправедливости, и имея дело с тягучей канцелярской работой. Главы «Процесса» и «Замка» проникнуты духом того, что увидел Кафка, когда работал в Институте по изучению несчастных случаев. Такое же настроение прослеживается и в его рассказе «Новые лампы», и в записи дневника от 2 июля 1913 г.: «Представшая перед судом двадцатитрехлетняя Мария Абрахам из-за нужды и голода

удушила своего почти девятимесячного ребенка подвязкой. Очень типичный случай». Интересна также схема реформ Кафки, в которой содержится модель устройства рабочего коллектива, основанная на добровольных началах и почти монашеская.

«ГИЛЬДИЯ РАБОЧИХ, НЕ ВЛАДЕЮЩИХ ИМУЩЕСТВОМ

Обязанности. 1. Не иметь и не брать ни денег, ни драгоценностей. Единственной собственностью является: простейшая одежда, необходимые для работы материалы, книги, необходимая пища. Остальное следует передавать нуждающимся. 2. Зарабатывать трудом. Привлекать к работе тех, кто может ею заниматься без ущерба для здоровья. Каждый сам выбирает работу, или, если это невозможно, работа распределяется комитетом труда, подчиненным правительству. 3. Получать вознаграждение за работу лишь за короткие сроки. 4. Вести наиболее умеренный образ жизни. Есть только тогда, когда это необходимо. В рацион могут входить, например, хлеб, вода, финики. 5. Отношения между работниками должны быть основаны на доверии, никогда нельзя требовать вмешательства суда. Любая работа должна выполняться при любых обстоятельствах, за исключением невозможности этого сделать по состоянию здоровья.

Права. 1. Максимальный рабочий день – шесть часов, для ручного труда – от четырех до пяти. 2. В случае заболевания или когда человек слишком стар, чтобы выполнять работу, его нужно освободить от работы и поместить в больницу.

Работа должна быть делом совести человека.

Собственность должна отдаваться на строительство больниц и жилищ.

Советы – большая ответственность – даются правительством.

Там, где человек может помочь, в заброшенной местности, рабочих домах, в качестве учителя…[15]

Ограничение – 500 человек.

Каждый год обучаться».

Кафка не принимал никакого активного участия в политическом движении. Но ему хотелось, чтобы улучшалась жизнь простых людей. Поэтому он ходил на митинги и публичные дискуссии. Я часто слышал, как он отзывался о крупных популярных деятелях, таких, как Соукуп, Клофач, Крамарж. Характеристики были подробными и всегда очень критичными.

Впоследствии я узнал, что Кафка был знаком с чешским революционером Кахой. В своем романе «Стефан Ротт» я писал: «Среди чехов, сидевших у стола в большом гостиничном номере, был гость из Германии, худощавый, молодо выглядевший, хотя ему было уже за тридцать. Он не произнес ни одного слова за весь вечер и лишь внимательно смотрел на окружающих большими светло-серыми глазами, контрастировавшими с загорелым лицом и густыми угольно-черными волосами». Это – образ Франца Кафки. Он часто ходил на такие собрания. Каха любил его и называл «клидас», то есть «молчун», если попытаться перевести пражско-чешский сленг. Местом посещения был знаменитый «Клуб младих», то есть «Клуб молодых», в котором бывали чешские писатели Гельнер, Томан, Шрамек, Станислав Нейман, Мареш, Ярослав Гашек.

Конечно, когда Кафка работал в канцелярии, его жизнь не всегда была окрашена в мрачные тона. Он умел завязывать дружбу с коллегами, даже если они были не совсем общительными людьми. Например, я нашел среди своих бумаг необычную запись. Она начинается словами: «Nos exules filii Evae», а в конце ее была заметка, записанная рукой Франца: «Пятидесятилетний автор создал программу, согласно которой он хочет объединить польских евреев (Далила – еврейская мать) со славянами (Урсус – славянский мужчина) и которая должна, по идее, спасти и тех и других. В результате будет рожден Самсон, который создаст новую религию».

Франц привел автора этого любопытного меморандума и познакомил меня с ним, затем мы втроем пошли на спектакль, который показывала труппа Польского еврейского театра, о котором я еще напишу несколько позже.

В одном из его писем ко мне Кафка описал свою канцелярскую работу с юмором, предвосхитившим фильмы Чарли Чаплина: «Если бы ты знал, сколько у меня работы! В моих подведомственных округах – кроме всего прочего – люди, изрядно выпив, падают с лесов, суют руки в машины, на них валятся доски, под ними осыпается земля. Все эти девушки с фарфоровых фабрик без конца падают с лестницы вместе с горой посуды. Надеюсь, в понедельник не произойдет худшее…»

В своем дневнике он детально описал опыт работы молодого счетовода. Он также отмечал достоинства тех, кто занимал высокое положение.

Однажды Франц пришел ко мне в сильном возбуждении. Он рассказал о том, как только что совершил глупейший поступок, который мог ему стоить работы, найденной с таким трудом. Вот что произошло. Когда его назначили служащим по оформлению

бумаг, один высокопоставленный чиновник из института вызвал нового клерка для представления его Кафке и стал произносить настолько выспреннюю и ханжескую речь, что Франц не выдержал и внезапно рассмеялся. Он долго не мог остановиться. Потом я помог расстроенному Францу написать письмо с извинением высокопоставленному господину, который, к счастью, вскоре перестал быть значительной фигурой. Следует заметить, что Франц по своему характеру очень ценил тех, кто хорошо к нему относился, помогал ему или хотя бы не чинил особых препятствий, – в то время как другие люди, которые достигли определенного положения в обществе, были вынуждены почти все свое время тратить на борьбу со всяческими препятствиями. Таким образом, все сводилось к тому, чтобы никому не жилось спокойно.

Веселые и оптимистические эпизоды в его канцелярской жизни можно считать редкими исключениями в череде рутинной работы, которая была для него постоянно увеличивавшейся тяжелой ношей. В своем дневнике Кафка писал о том, как канцелярская работа мешала ему писать. Однако есть одно высказывание Кафки, на которое следует обратить особое внимание. Оно написано от лица очень скромного человека, который с величайшим трудом заставляет себя писать бумаги для своей конторы, будто отдирает кусок мяса от своего тела. Затем он «в величайшем страхе» объясняет, что «все во мне готово для творческой работы, но эта работа не будет считаться посланной небесами для решения моих проблем и никогда не претворится в жизнь до тех пор, пока я буду вынужден терзать свое тело, которому так нужен вырываемый из него кусок мяса, выполняя в этой конторе несчастную канцелярскую работу». В этом же духе написаны другие неопубликованные части дневника. Для Кафки наступил критический момент, когда пришло время оформить его долю на фабрике в интересах всей семьи, и позже он с трудом проявлял практический интерес (можно сказать, случайный) к этому предприятию. Это было для него невыносимо. Он знал в действительности, какой мощный творческий заряд живет в его душе и с какой силой он может вырваться на волю. И в то же время знал, что всякого рода обязательства держат его на замке. Его жалобы напоминают письмо Моцарта из Парижа, в котором он писал о том, что отказывается брать учеников, на чем настаивал его отец. «Не думай, что это из-за лености, вовсе нет, но лишь потому, что это стало бы мешать моему основному занятию, моей страсти, препятствовало бы проявлению моего гения… Ты знаешь, как меня поглощает музыка, – я занимаюсь ею целыми днями. Но теперь уроки будут мешать мне заниматься

любимым делом. У меня, правда, будет несколько свободных часов, но мне в таком случае придется использовать их для отдыха». К сожалению, обыватели считают, что гению достаточно «нескольких свободных часов». Они не понимают, что всего свободного времени ему едва хватает для того, чтобы обеспечить достаточно сносную непрерывную работу приливов и отливов вдохновения и создать широкое пространство для колебания творческих волн.

Те, кто полагает, что Кафка считал свои литературные творения неудачными или был к ним безразличен, будут удивлены тем, что в его дневнике есть строки, в которых говорится о его «способностях» и «как убивает их эта изнуряющая работа». В этом ощущается сходство с высказываниями Моцарта о своем «гении» в вышеприведенном письме. Было бы, честно говоря, смешно предположить, что этот ярко выраженный гений сомневался в переполнявших его творческих силах. Внешнему же миру Кафка демонстрировал определенную заниженную самооценку. На него сильно повлияло религиозное сознание, несмотря на то что он пытался ему противостоять. На фоне этого сознания он чувствовал себя ничтожным, но это в конечном счете не помешало ему оценить должным образом Божескую милость, дарованную ему, и то, как несправедлив был иногда Божий промысел, потому что воздвиг перед ним временные препятствия. Он писал:

«11/15/1911. В эту ночь передо мной возникла картина, и я вскочил с кровати, потом снова лег и стал думать о своих способностях. У меня было ощущение, словно я держал их в руке, они распирали мою грудь, у меня пылала голова. Чтобы успокоиться и не приняться за работу, я снова и снова повторял себе: «Это не принесет тебе никакой пользы, это не принесет тебе никакой пользы» – и с ощутимым усилием пытался уснуть. Как много я вчера потерял. Кровь пульсировала в моей гудевшей от напряжения голове, и мне стоило неимоверных усилий остаться в живых».

Определенно, это все, что я мог постичь: ясное или даже приблизительное понимание каждого слова, но когда я сидел за столом и пытался изложить свои мысли на бумаге, слова в своих подлинных значениях выглядели сухими, капризными, жесткими, непонятными всему миру, робкими, и, кроме всего прочего, неполными, хотя я ни на йоту не отступал от своей первоначальной концепции. Объяснение кроется в том, что я правильно постигаю вещи только тогда, когда не привязан к бумаге, в минуты вдохновения, которых я боюсь больше, чем

жажду, а также в том, что реальность настолько ярка, что я отшатываюсь от нее, но она слепо следует за мной и выхватывает вещи из потока горстями, поэтому все, чего я могу добиться, когда пытаюсь отразить эту реальность в образах, – это сравнить ее с блеском, в котором она живет, так как не способен создать в воображении эту яркую действительность, именно поэтому она так плоха и тревожна, потому что лишь напрасно всех соблазняет.

«12/28/1911. Как ужасно для меня состояние дел на фабрике! Почему я не протестовал, когда мне навязали эти обязанности? Конечно, никто не заставляет меня этим заниматься, но отец донимает меня упреками, а К. – своим молчанием; кроме того, меня мучает чувство вины. Я ничего не смыслю в делах фабрики, и этим утром, будучи там, я стоял беспомощный, словно высеченный школьник. Я уверен, что никогда не смогу вникнуть во все тонкости работы фабрики. Но даже если я смогу, преодолев все эти кошмарные трудности, в чем-либо разобраться, какой результат это принесет? Я не смею найти практическое применение этим знаниям, я могу лишь делать то, что более-менее подойдет моему хозяину[16], руководить же я не в состоянии. Из-за этой пустой траты времени и энергии я не смогу использовать для себя даже несколько часов после полудня, что приведет лишь к полному разрушению моего существования, которое становится все более и более ограничено».

«6/21/1912. Какой кошмар у меня в голове! Но как я могу отключиться, не заглушив внутренний голос? В тысячу раз лучше избавиться от него, чем держать внутри или уничтожить во мне».

«Какой кошмар у меня в голове!» В дневнике множество планов, набросков, и лишь малая часть из них доведена до конца. Моцарт сопротивлялся и восставал против своего отца. Кафка молчал. Но есть его письмо, написанное мне, в котором он говорил о том, как тяготила его каждодневная работа. Оно – передо мной, и я считаю, что не отношения Франца с отцом медленно и все глубже затягивали его в мир печали, что в конечном итоге привело его к болезни и смерти. Чрезмерное чувство связи с отцом держало его в крепких тисках служебных обязанностей – и это еще более усугубляло его несчастье. Но само несчастье состояло в том, что богато одаренный человек, с тонко развитым чувством воображения, в то время, когда разворачивались его молодые силы, был вынужден работать изо дня в день до изнеможения, выполняя неинтересную, не затрагивающую его душу работу. Вот что он изложил мне в этом

письме:

«После того как я самозабвенно писал в ночь с воскресенья на понедельник, – я мог бы писать день и ночь, – и сегодня я уверен, что у меня хорошо получилось. Я должен прекратить мои занятия творчеством в силу особых обстоятельств. Г-н Х., владелец фабрики, рано утром уехал по своим делам, что я, со своим рассеянным вниманием, едва заметил. Он будет в отлучке десять дней или даже две недели. На время его отсутствия фабрику будет контролировать лишь один управляющий, а любой хозяин (по крайней мере, такой беспокойный, как мой отец) не будет ни капли сомневаться в том, что сейчас же на фабрике начнутся кражи и беспорядки. Я сам в этом также уверен – правда, беспокоюсь не столько из-за потери денег, сколько из-за того, что могу чего-то не знать и поэтому буду глубоко переживать. Но все равно даже независимый наблюдатель – насколько я могу вообразить себе такую личность – не будет ни капли сомневаться в том, что страхи моего отца были напрасными, хотя сам я, в глубине души, не могу понять, почему немецкий управляющий, родом из Германии, чья компетентность в любом техническом и организационном вопросе достаточно высока, пусть даже и в отсутствие г-на Х., не сможет поддерживать заведенный порядок на фабрике. Кроме всего прочего, мы все-таки порядочные люди, а не воры…

Когда некоторое время назад я пытался объяснить тебе, что ничто внешнее не может потревожить меня, когда я пишу (что было сказано, конечно, не для того, чтобы похвалить себя, а для того, чтобы утешить), я думал в это время о том, как моя мать, всхлипывая, каждый вечер уговаривала меня вновь заняться фабрикой и облегчить заботы отца и как отец говорил то же самое, но гораздо грубее или более уклончиво. Все эти всхлипывания и попреки лишь усугубляли глупость этих разговоров, потому что я не смог бы выполнять подобные обязанности даже в минуты моего наилучшего настроения.

Но этот вопрос не будет подниматься в течение следующих двух недель, потому что существует настоятельная необходимость в том, чтобы какая-нибудь пара глаз, пусть даже моих, присматривала за работой всей фабрики. Я не могу иметь ни малейшего возражения против этого требования, предъявляемого мне, потому что каждый думает, что я – главное лицо по снабжению фабрики всем необходимым. И хотя я и берусь руководить фабрикой лишь в своем воображении, а не на деле, я по меньшей мере понимаю, что нет никого, кроме меня, кто мог бы сделать это, потому что мои родители, чей приход на

фабрику трудно себе представить, чрезвычайно заняты своим новым бизнесом (дело пошло лучше с открытием нового магазина), и сегодня, к примеру, мать не имеет времени даже забежать домой перекусить.

Поэтому, когда мать в очередной раз начала этот старый разговор сегодня вечером и, кроме обычного сетования по поводу того, что я сделаю своего отца больным и несчастным, привела еще одну причину – деловую поездку г-на Х. и заброшенность фабрики на время его отъезда, – волна горечи (я не знаю, может быть, это была просто злость) захлестнула все мое существо, и я четко понял, что передо мной стоит выбор: либо сегодня вечером я жду, когда все улягутся спать, и выбрасываюсь из окна, либо хожу каждый день на фабрику и сижу в кабинете г-на Х. все дни напролет в течение следующих двух недель. Первый вариант предоставит мне возможность снять с себя всю ответственность – как в отношении моих литературных трудов, так и по надзору за фабрикой. Второй вариант прервет мое писательское занятие без всякого сомнения – я не смогу просто так избавиться от четырнадцатидневной спячки, – но, если соберу силы для желания и надежды, возможно, сумею начать писать с того места, где остановился четырнадцать дней назад.

Итак, я не выбросился из окна, а намерение сделать это письмо прощальным (причина написания его крылась совсем в другом) не было слишком велико. Я долго стоял перед окном, прижимая лицо к стеклу, и не один раз почувствовал, как зазвенит испуганная балка при моем падении. Но также я ощущал очень глубоко, что долгое пребывание в состоянии готовности разбить свое тело на кусочки на мостовой низведет меня на определенный уровень. Мне также казалось, что, оставшись в живых, я все равно прерву свою литературную работу – не иначе как смертью – и что в период между началом моей работы и ее возобновлением через четырнадцать дней я смогу, находясь на фабрике, в поле зрения своих довольных родителей, хоть как-то продвинуться и начать жить снова в сердце моего романа.

Мой дорогой Макс! Я рассказал тебе все, но не потому, что хотел услышать твой приговор (ведь ты не все знаешь, чтобы верно судить об этом), а потому, что я твердо решил выброситься из окна без какого-либо прощального письма, – каждый имеет право на чувство усталости перед своим концом. Сейчас я возвращаюсь в свою комнату как ее обитатель и хотел бы отпраздновать такое событие, написав тебе длинное письмо, знаменующее собой нашу новую встречу. И вот оно передо мной.

А теперь – последний поцелуй и пожелание спокойной ночи, потому что завтра я сделаю то, чего они от меня хотят – пойду

управлять фабрикой».

Когда я прочитал письмо, меня обуял ужас. Я написал его матери и открыто сказал ей о том, что ее сын может покончить с собой. Конечно, я просил ее не говорить Францу о моем вмешательстве в это дело. Ответ, который я получил 7 октября 1912 г., был полон материнской любви. Он начинался словами: «Я только что получила ваше письмо, и оно привело меня в шок. Я, отдавшая кровь сердца для того, чтобы мой сын был счастлив, беспомощна и не могу ему помочь. Тем не менее я сделаю все, что в моих силах, чтобы увидеть его счастливым». Далее мать Франца стала излагать суть дела. Она писала, что отец Франца заболел, поэтому Францу приходится ходить на фабрику каждый день и тем временем подыскивать себе замену. «Я поговорю с Францем, не упоминая о вашем письме, и скажу, что ему не нужно приходить завтра на фабрику. Надеюсь, он послушается меня и успокоится. Умоляю вас, дорогой доктор, успокойте его, и благодарю вас за то, что вы так любите Франца».

Нужно разобраться с тем, как Кафка относился к творчеству и какое значение он ему придавал.

«Писать – все равно что молиться». Это, пожалуй, самое откровенное место в дневнике. Франц оставил, к сожалению, в незавершенной форме записи беседы с антропософистом д-ром Рудольфом Штейнером. Ясно, что, когда Кафка работал, он экспериментировал, и его эксперименты были очень похожи на опыты, описанные д-ром Штейнером. Кафка сравнивает свое творчество с «новым оккультным учением», своего рода каббалой. Литературное творчество было «единственным желанием», его «единственной профессией», как писал он в одном из писем. 6 августа 1914 г. он писал в своем дневнике: «Мое желание изобразить мою наполненную фантазиями внутреннюю жизнь отодвинуло на задний план все остальное; другие интересы утратили свое значение. Ничто другое не может сделать меня счастливым. Но невозможно просчитать, насколько хватит у меня сил для этого. Может быть, силы окончательно иссякли, может быть, они вернутся ко мне, хотя жизненные обстоятельства этому не благоприятствуют. Так я и колеблюсь, взлетая беспрестанно на вершину горы, но не в силах там ни на мгновенье отдохнуть».

«У меня есть мандат», – говорит Кафка в другом отрывке, и под этим, наверное, подразумевается литературный мандат, религиозные вопросы здесь отступают на второй план. Что касается религиозного вопроса, то религия Кафки заключалась в преклонении перед полнокровной жизнью, наполненной хорошей работой, для которой было характерно равноправие и которая

должна была протекать в справедливом национальном и человеческом сообществе.

«Быть одному – наказание» – эта сентенция в дневнике Кафки является для него лейтмотивом. Эта мысль выражена в рассказе «Певица Жозефина, или Мышиный народ». 6 января 1914 г., после прочтения «Опыта и воображения» Дильтея, он писал: «Любовь к человеку, уважение ко всем его проявлениям, спокойное наблюдение за жизнью». Строки из письма к Оскару Поллаку («Лучше почувствовать вкус жизни, чем прикусить язык») также показывают активное отношение Кафки к жизни.

В конце 1913 г. он пишет следующее:

«Единообразие человечества состоит в том, что каждый человек, даже наиболее общительный и приспособленный к взаимодействию с другими людьми, рано или поздно начинает сомневаться, пусть даже с оттенком сентиментальности, в своей взаимосвязи с человеческой общностью, и у него возникает потребность открыть себя каждому человеку или, по крайней мере, проявить свое желание раскрыть себя со всех сторон, показать свою принадлежность ко всему человечеству, и такие индивидуальности встречаются нам на каждом шагу». И это написал человек, в работах которого тема одиночества и разобщенности между людьми возникает снова и снова, даже в рассказах о животных (душа животного не может быть постигнута человеком). Эта тема звучит в рассказе «Гигантский крот» или в еще не опубликованном фрагменте от августа 1914 г., который начинается словами: «Когда-то я работал на железной дороге в глубине России, – и далее следует: – Было ли лучше мне оттого, что возрастало мое одиночество». Создается впечатление, что в душе Кафки борются две противоположные тенденции: желание одиночества и востребованности обществом. Но такое впечатление вызвано непониманием того, что Кафка не одобрял склонности к одиночеству и идеалом для него была жизнь в обществе, – к такой жизни безуспешно тянулся К., герой его романа «Замок».

Во многих описаниях холостяцкой жизни, которые играли большую роль в его произведениях, Кафка старался осознать, в чем была его правота и чему следовало бы противостоять. По правде говоря, Кафке нужно было одиночество для занятий литературным творчеством, ему необходимо было уходить в себя. Даже обычный разговор с другом мог представлять для него опасность. Кафка изучал себя ежеминутно.

В 1911 г. он пишет о себе: «В переходный период, в котором я пребывал последние недели и до настоящего момента, я с грустью ощущаю, что мне недостает эмоций, я отделен от всего

мира пространством, которое не в силах преодолеть». И в марте 1912 г.: «…кто подтвердит мне непреложность того, что одиночество – это последствие моих литературных устремлений, оно – результат того, что я не интересуюсь больше ничем, я бессердечен».

О, мой слишком совестливый друг! Твоя литературная работа – это лишь символ твоей праведной жизни, и в то же время – она нечто гораздо большее. Она существует сама по себе, она – твоя жизнь, она – наиболее правильное и соответствующее выражение тех творческих сил, с которыми ты родился. Это – то, что ты требуешь от себя и от всего человечества: не тратить впустую дарованные ему способности, не дать им зачахнуть, но использовать каждое свое усилие для того, чтобы выполнить «Поручение» и таким образом предстать перед «Судом», отбиваясь от нападок грешников, старающихся не дать другим войти в ворота. Соблазнов – великое множество. «Если ты поддашься ложному звону ночного колокола, ты уже никогда этого не исправишь». «Никто, никто не укажет тебе путь в Индию. Даже тогда (во времена Александра), когда ворота в Индию были неприступны, меч царя указал дорогу. Сегодня эти ворота находятся где-то в другом месте, на более дальнем расстоянии, на большей высоте. Но никто не указывает дорогу. У многих есть мечи, но они только беспорядочно размахивают ими, и обращенные на них взгляды не могут уловить никакого направления». (Из сборника рассказов «Сельский врач».) И все же «неподкупность» и «неразрушимость» в нас остаются. Мы смотрим на них издалека, «со времени битв Александра», мы читаем и перелистываем страницы «наших старых книг», ждем пришествия «имперского посланника». Это то, чему учил нас Рабби Тарфон в «Изречениях отцов», тонко понимая постоянно колеблющееся противостояние между оптимизмом и пессимизмом: «Вам не дано выполнить задачу, но это не значит, что вы должны отказываться от ее выполнения».

Если сравнить творчество Кафки с творчеством Флобера, то можно увидеть различие в принципах. Для Флобера искусство – основная суть и истинный смысл существования. У Кафки мы видим другое: «Наше искусство заключается в ослеплении Правдой. Свет, который ложится на искаженную маску и потом исчезает, – это и есть Правда, и ничего больше». Искусство – это отражение религиозного опыта. Но для Кафки искусство было дорогой к Богу, и не только в этом конкретном смысле. Тот, кто сбился с пути, все равно видит дорогу – ту дорогу, с которой он свернул, но в хорошем, позитивном значении, объясненном выше, – все равно что повивальная бабка человеческих возможностей,

учительница, которая учит жить полнокровной жизнью и развивать свои природные способности. Кафка пишет 15 августа 1914 г.: «Я пишу несколько недель, пусть это продолжается и дальше! Хотя я уже не так хорошо защищен, как два года назад, и не так погружен в творчество, мои чувства пришли в порядок и моя пустая, сумасшедшая холостяцкая жизнь имеет какое-то оправдание. Только так мне может стать лучше».

Таким образом, искусство служить религиозным принципам и дает смысл жизни. Работа, как одна из прекрасных созидательных возможностей, данных Богом, имеет такие же права, как и другие виды деятельности, которые сами по себе значительны и конструктивны настолько, что выводят писателя из пустыни тщетных устремлений в сферу активного общественного существования. Но труд писателя был недостаточен, с точки зрения Кафки. В его понимании нужно было также создать семью. Я никогда не забуду, как эмоционально читал он мне последний параграф из «Личных воспоминаний» племянницы Флобера Каролины Комманвиль. В этом отрывке описано, как Флобер жертвенно относился к своему идолу «La Litterature». Всюду – любовь, везде – нежность, и автор вопрошает, будет ли он к концу своей жизни сожалеть об уходе «от общества». Она склонна в это поверить. Причиной тому послужили несколько взволнованных слов, которые сказал ей Флобер во время одной из последних прогулок. Они повстречали одну свою знакомую в окружении ее очаровательных детей. Когда они возвращались домой по набережной Сены, Флобер взволнованно произнес: «Us sont dans le vrai… (Комманвиль объясняет) имея в виду честную и добропорядочную семью. – Oui', se repetait-il a lui-memegranement, 'ils sont dans le vrai»[17]… Кафка часто приводил эту цитату. Одно искусство для него было недостаточным, чтобы построить желанную жизнь. Но оно было незаменимой частью этой жизни и в то же время началом, основополагающей сферой, вокруг которой вращались другие орбиты. Эта глубокая трагедия заключалась в том, что обстоятельства препятствовали ему сделать первый шаг к началу праведной религиозной жизни, не давали ему надлежащим образом прочитать молитву, которую он был в силах произнести. Если бы ему дали возможность проявить свои литературные способности в полной мере, ему, несомненно, во многих отношениях стало бы гораздо лучше. Но так как этого не произошло, губительное воздействие нелюбимой работы постепенно затянуло его в метафизические глубины.

Очевидно, нельзя сказать, что, сделав первые шаги, Кафка мог бы легко решить все другие проблемы. Но без первых шагов провал был неизбежен. На самом деле многие проблемы Кафки

были, по-видимому, абсолютно неразрешимыми.

Чтобы иметь представление об образе мышления и творчестве Кафки, нужно проследить ход его дальнейшего духовного развития, которое выходит далеко за рамки того, о чем нам сейчас известно.

Глава 4
К изданию сборника рассказов «Наблюдения»

Короткий летний отпуск, освободивший нас на две или три недели от рабского труда в канцелярии, доставил нам немало приятных ощущений. Быть свободными, иметь возможность наслаждаться окружающим миром, видеть вокруг беззаботных людей – как это было для нас замечательно, и мы радовались со всей силой молодости. Мы вместе гуляли, смотрели на горы и смеялись больше, чем когда-либо. Мы словно вырвались из подземелья на солнечный свет. Никогда в жизни я не был так весел, как во время того отпуска, проведенного с Кафкой. Мы вели себя как счастливые дети, безудержно шутили и испытывали огромную радость жизни. Для меня было большим счастьем находиться рядом с Кафкой и восхищаться его глубокими мыслями, бьющими ключом, – даже его ипохондрия была занимательна и заключала в себе множество идей.

Следует отметить, что мы проводили вместе не только летние отпуска, но и на протяжении многих лет прогуливались с ним по Праге и ее окрестностям. Летом мы каждое воскресенье подолгу гуляли вместе. На Пасху и в Троицын день отдыхали по два-три дня, а в обычные субботние дни мы также часто уезжали, покидая город после полудня. В нашей компании третьим был обычно Феликс Вельтш. Мы гуляли (как я прочитал в своем дневнике, по «неописуемо красивым» местам) по семь-восемь часов в день. Это было нашим спортом. Мы также купались в ручьях и реках. Мы плавали, загорали, закалялись. Однажды молодой Франц Верфель, словно школьник, решил провести отдых подобно дикарю. После этого он страшно загорел. Его стихи, которые мы читали вслух на заросших камышом берегах Сазавы, вселяли в нас энтузиазм.

Я приведу одно из своеобразных писем, в которых Кафка предлагал мне подобные экскурсии:

«Дорогой мой Макс!

Не траться на письмо, чтобы сказать о том, что ты не сможешь быть на станции Франца-Иосифа в 6.05, поскольку ты должен там быть. В 6.05 мы собираемся во Вран. В 7.45 пойдем по направлению к Давлу, где будем есть гуляш. В 12 часов у нас будет второй завтрак (ленч) у Стеховича, с двух до четверти

четвертого мы пойдем через лес к речным порогам и будем грести на лодках. В семь мы вернемся на пароходе в Прагу. Не думай об этом, но в четверть шестого ты должен быть на станции. Но при этом ты все-таки можешь послать письмо, в котором напишешь, хотелось бы тебе поехать к Добржиховичу или куда-либо еще».

Мы провели нескончаемые счастливые часы в пражских купальнях, на лодках, плавая по Влтаве. Многие интересные впечатления описаны в моей новелле «Стефан Ротт». Я восхищался тем, как Франц плавал и греб веслами. Он всегда был ловок, и у него было больше смелости, чем у меня. Он любил испытывать судьбу, попадая в опасные ситуации. При этом на его лице появлялась почти жестокая улыбка, которая как бы говорила: «Спаси самого себя». Как мне нравилась эта улыбка, в ней было что-то ободряющее и вызывающее доверие. Франц был необычайно изобретателен в выборе различных видов спорта, или мне это просто казалось. И в этом, как и во всем остальном, он выражал себя с полной самоотдачей.

Наш первый совместный отпуск начался 4 сентября 1909 г., мы провели его в Риве. Кафка, мой брат Отто и я немало часов провели на маленьком пляже, под дорогой Понале, на курорте Мадоннина. Когда я вернулся в Риву после войны, я больше не увидел ни чудесных зеленых садов, ни ящериц, бегавших по песчаным дорожкам, которые вели от забитой автомобилями пыльной дороги к веявшим прохладой минеральным источникам. Незабвенное скромное курортное место за величавыми отвесными скалами! Я посвятил ему столько стихотворений! Мы были гостями в этом тихом южном местечке. Никогда юг не казался нам таким привлекательным. Кафка позднее снова посетил Риву, но тогда он уже жил там один. Это было в 1913 г., после первой большой неудачи в любви. Тогда он поселился в Гартунгенском санатории на другом берегу озера.

В 1909 г. мы отдыхали очень хорошо. И даже встречи и дискуссии с поэтом и певцом природы Далаго, когда он посещал те же купальни, что и мы, не могли нарушить нашего спокойствия. Опыт путешествий моего брата, который был гораздо более сведущ в практических делах, чем я, помог нам выбраться из многих трудных ситуаций. Мой брат, можно сказать, «открыл» для нас Риву за год до описываемых событий, а в тот год нашел легчайший путь для того, чтобы мы могли отдохнуть как можно интересней. На одной фотографии Франц стоит под колоннами замка Тоблино, на другой он сидит вместе с моим братом на мраморной плите возле берега озера.

В идиллию курорта Мадоннины ворвалась газетная статья –

мы, конечно, тогда ничего не читали, кроме некоторых итальянских газет, выходящих в Риве, – о первых полетах над Брешией. Мы до этого никогда не видели самолетов и решили, несмотря на скудные средства, поехать в Брешию. Кафка был восприимчивее других к новому, и это доказывает, как не правы те, кто считает, что он жил в башне из слоновой кости и был погружен в мир фантазий, и полагает, будто он занимался лишь религиозными размышлениями. Кафка был совершенно другим, интересовался всем новым, в том числе современными техническими новшествами. Например, вначале он горячо увлекался кинематографом. Он никогда горделиво не замыкался в себе – даже в случае грубых нападок сторонников современных течений он терпеливо пытался найти им объяснение с неиссякаемой любознательностью, продолжая верить в здравый человеческий рассудок. Никогда в самолюбивой обособленности он не отвергал внешнего, земного, организованного мира. Его отталкивало грязное, аморальное – оно просто не интересовало его. У него был удивительный дар считать это скучным. Например, мне так и не удалось убедить его прочитать больше одной или двух строк из Казановы, которого я оценивал гораздо выше, чем он того заслуживал, и считал, что его следует читать.

Брешия была переполнена людьми. Несмотря на то что мы переживали за сохранность наших денег, нам в конце концов пришлось заночевать в комнате, которая показалась убежищем воров. Может быть, меня обманывает память, но мне кажется, в этой комнате была большая дыра в полу. Мы натерпелись в ту ночь страху. Зато на следующий день на залитом ярким солнцем аэродроме мы смеялись над нашими ночными злоключениями. Признаюсь, что, когда мы возвращались обратно, проведя ночь в Десензано, на улице за нами погнались фанаты, которые прятали за спинами сотни изображений святых, и мы, дрожа, отсиживались на лавочках около озера, дожидаясь рассвета. Так мы путешествовали в те дни – не зная первоклассных отелей, в состоянии беззаботного счастья.

Мы отдыхали в интересное время. Рива принадлежала Австрии, Брешия была итальянской. Ходили слухи о том, что в Монте-Брионе, неподалеку от Ривы, есть подземные убежища, но никто не воспринимал этого всерьез. Война казалась некой фантастической идеей, вроде философского камня, и, пересекая границу, мы об этом не задумывались.

Первые полеты произвели на нас огромное впечатление. Я сказал Францу, что ему следует немедленно обобщить впечатления об увиденном и написать статью. Я предложил устроить спортивное соревнование между нами, и ему эта идея

понравилась. Я тоже собирался написать статью, и мы условились соревноваться, кто напишет удачнее. Надо сказать, что мы с Кафкой нередко затевали подобного рода игры. Например, во время этой экскурсии на аэродром мы договорились скрывать наши впечатления, и только в конце можно было поговорить об увиденном.

Но за придуманной мной игрой стоял тайный план. В то время Кафка мало занимался творчеством. Он месяцами ничего не писал и часто жаловался мне на то, что его талант, по-видимому, иссякает, что он окончательно покидает его. В самом деле, он иногда месяцами пребывал в состоянии летаргии. В моем дневнике я нашел запись, в которой говорится о его печали. Le coeur triste, l'espritgai[18] – эта характеристика прекрасно ему подходит и объясняет, как, даже в очень подавленном состоянии, за исключением, может быть, ситуаций крайней откровенности, он никогда не казался мрачным. Наоборот, у него, как правило, был ободряющий вид. Но он очень страдал. Я хотел доказать ему, что его боязнь заниматься литературой безосновательна и что нужно лишь проявить желание, сосредоточиться и направить свой дар в рабочее русло.

Мой план удался. Франц с радостью написал статью «Аэропланы Брешии», которая была опубликована в конце сентября 1909 г. в «Богемии». Я передал рукопись Паулю Виглеру, который был в ту пору ее издателем. Позже мне удалось убедить Франца разрешить включить эту статью в мою книгу «О красоте безобразных картин». Я написал к ней следующее вступление:

«А если мы – два друга, если мы были неразлучны во время нашей поездки, даже в своих мыслях, если мы были так близки на чужбине, неужели мы не сможем так же близко сойтись в нашей общей книге по возвращении домой? А если наши вариации на одну и ту же тему не могут быть написаны независимо друг от друга, даже если два автора хранили свои мысли в секрете с комическим и преувеличенным страхом или даже, тайно соперничая, донимали третьего путешественника, моего брата Отто, для получения совета? Что, если эти вариации принадлежат друг другу, дополняют, проясняют, украшают друг друга? И что, если с этим ничего нельзя поделать?» Передо мной лежат гранки двух эссе. Я испытываю гордость, что способствовал первой публикации Кафки на страницах книги. Но, увы, все это осталось лишь в мечтах.

В конце концов книга показалась издателю слишком объемной и, наряду с другими материалами, наши эссе изъяли из окончательного варианта издания.

Статья, подобная этой, не была, конечно, пределом мечтаний,

к которому я стремился, она служила лишь единственной цели – побудить Кафку к дальнейшему творчеству. И этого я достиг – несмотря на сильное сопротивление упрямого автора. Временами я стоял над ним, как надсмотрщик, убеждал и стимулировал его – не всегда совсем откровенно, но каждый раз используя различные средства и уловки. Я ни в коем случае не мог позволить его дарованию надломиться вновь. Иногда Кафка благодарил меня за это. Но частенько я чувствовал, как были обременительны мои понукания и что он готов был послать их к черту, о чем было сказано в его дневнике. Я понимал его состояние, но мне было все равно. Для меня было важно помочь моему другу даже против его воли.

Я утверждаю, что только благодаря мне этот дневник появился на свет. Он возник из маленьких заметок, сделанных Францем во время наших совместных путешествий. Осознанная и уже устоявшаяся тенденция Кафки отражать свой жизненный опыт нашла свежее выражение в репортаже о нашей совместной поездке. Позже эта тенденция получила систематическое развитие. Именно этого я так сильно желал.

Дневники имели значение для Кафки не только как автобиографические заметки и выражение его души. Среди содержавшихся там заметок есть фрагменты, послужившие для создания его первой книги «Наблюдения». Очевидно, Кафка сам отобрал фрагменты, которые считал нужными. Мы не можем знать, почему он одни отрывки считал подходящими, а другие решил не брать.

В дневнике содержится множество маленьких фрагментов будущих рассказов[19]. Они громоздились друг на друга до тех пор, пока внезапно из скопления предложений вдруг не выскочил, как язык пламени, первый законченный рассказ значительного объема – «Приговор». И кроме того, в течение одной ночи, с 22 на 23 сентября 1912 г., автор нашел наиболее подходящую для себя литературную форму, и мощь писательского гения, уникального в своем жанре, наконец-то обрела полную свободу.

В октябре 1910 г. мы собрались в Париж на отдых. Поехали Кафка, Феликс Вельтш, мой брат и я. Круг наших друзей возрос, он ширился уже несколько лет. Я познакомил Кафку с Феликсом Вельтшем и Оскаром Баумом. Баум – проницательный философ («Достоинство и Свобода» и «Опасности умеренной позиции» – его основные книги, к тому же автор философского трактата «Восприятие и мысль», написанного в соавторстве со мной), писатель, создавший впечатляющую историческую новеллу «Народ, который крепко спал», почувствовал расположение к Кафке. Между нашей четверкой были особо доверительные

отношения, и мы никогда не ссорились. Мы постоянно встречались, наши встречи вошли в традицию на многие годы.

Оскар Баум, писатель, так вспоминает свою первую встречу с Кафкой: «Наша первая встреча ясно запечатлелась в моей памяти. Она состоялась благодаря Максу Броду. Он привел ко мне Франца Кафку и прочитал нам в тот осенний день 1904 г. рассказ «Экскурсии в темно-красное», который Кафка тогда только закончил. Нам тогда было чуть больше двадцати. Я помню многое из того, что мы сказали, азартно обмениваясь мнениями, стараясь использовать минимум слов (тогда это было у нас в ходу). Кафка среди прочего произнес: «Когда нет необходимости отклоняться от действия с помощью стилистических уловок, возрастает искушение делать это».

На меня произвел впечатление первый жест Кафки, когда он вошел в мою комнату. Он знал, что находится в присутствии слепого человека. Когда Брод представил его мне, он мне молча поклонился. Это могло показаться бессмысленным, поскольку я не мог его увидеть. Меня коснулись его волосы, наверное, потому, что я слишком энергично поклонился в тот же момент. Это был первый человек в мире, который дал понять, что мой недостаток существовал только для меня – и не с помощью каких-либо скидок или особой внимательности, не посредством тонких изменений поведения. Он вел себя так, как хотел. Он был настолько далек от общепринятых норм, что на каждого человека его манеры производили сильное впечатление. Его строгая холодная сдержанность была превосходна в глубинном выражении простой доброты (эти качества я с первого взгляда определял в незнакомых мне людях) – в теплоте слов, в тоне голоса, в пожатии руки.

Это соответствие каждого его невольного движения, любого произнесенного им слова общим взглядам на жизнь накладывало отпечаток на его поведение и необыкновенно живую внешность, несмотря на незримые баталии, которые постоянно терзали его ум. Когда он читал вслух – а это была его особенная страсть, – ударения каждого слова были полностью соподчинены, любой слог звучал очень отчетливо (хотя язык его работал столь быстро, что мог вызвать головокружение), в гармонии с музыкальным ритмом фразы; он читал с невероятными задержками дыхания и мощным нарастанием крещендо на динамическом уровне. Все это вы могли найти в его прозе, где случайно могли обнаружить, что такой самостоятельный фрагмент, как, например, «Цирковая наездница», состоял из одного превосходно составленного сложного предложения».

Я не хочу, однако, способствовать созданию впечатления,

будто Кафка общался лишь с тесным кругом «пражской четверки». Напротив, он был готов общаться с каждым, кто разделял его чувства, или, по крайней мере (до тех пор, пока ему позволяло здоровье), не отвергать такого общения. Среди тех, с кем общался Кафка, были Мартин Бубер, Франц Верфель, Отто Пик, Эрнст Вейс, Вилли Хаас, Рудольф Фукс, позднее – красноречивый Людвиг Хардт, Вольфенштейн и многие другие. Некоторые из них дополнили своими рассказами картину жизни Кафки.

Наш отдых в Париже был омрачен тем, что у Франца развился карбункул. Лечение у французских докторов было неудачным. Через несколько дней он вернулся в Прагу. Кафка был всегда очень чувствителен к нарушениям своего здоровья. Каждый телесный недуг беспокоил его, – например, перхоть, запоры или боли в пальцах ног вызывали у него панику. Он не верил лекарствам и врачам. Он хотел, чтобы природа сама восстанавливала баланс, и презирал все «ненатуральные» средства.

Эта тенденция усилилась в 1911 г., когда он встретил в Варнсдорфе промышленника Снитцера, проповедовавшего «натуральное лечение». Я нашел у себя следующие сделанные мной записи: «Кафка вернулся в Прагу в пятницу, но не пошел повидать меня или Баума». Он был «так слаб и чувствовал себя таким разбитым; его желудок был не в порядке, он никуда не выходил и выглядел очень жалким». В пятницу днем он пришел ко мне и рассказал много удивительных вещей о цветущем городе Варнсдорфе, о «волшебнике», приверженце натуральной медицины, богатом промышленнике, который осмотрел его и стал ему говорить о вреде лекарственных ядов для спинного и головного мозга. Для лечения этот промышленник рекомендовал сон при открытых окнах, солнечные ванны, работу в саду и сказал, что нужно поддерживать связь с Клубом натуральной медицины и подписываться на издаваемый этим обществом журнал. Он выступал против врачей, медицины и инъекций. Он истолковывал Библию с вегетарианской точки зрения: Моисей смог провести евреев через пустыню, поскольку они были вегетарианцами. Манна была вегетарианской диетой, поэтому отступила смерть. Он рассказал также, что в Новом Завете Иисус сказал о хлебе: «Это – моя плоть». У Франца вызывал очень большой интерес «метод естественного здоровья». Его отношение к этому методу и другим подобным течениям было крайне заинтересованным и в то же время смягченным шутками над некоторыми глупостями и причудами, которые сопровождали все эти новшества. В целом он видел в попытках создать нового здорового человека и использовать таинственные и свободные

оздоровляющие силы природы нечто чрезвычайно позитивное, находящееся в согласии со многими его чувствами и убеждениями, и широко использовал этот метод на практике. Он спал при открытом окне. Войдя к нему в спальню, можно было почувствовать, как струится свежий воздух. Он всегда легко одевался, даже зимой, подолгу не ел мяса и не пил спиртного. Когда он заболел, то предпочел лечиться в частном доме в Цюрау, в простой сельской местности, а не в санатории, куда он пошел лишь в силу крайней необходимости.

В 1910 г. произошла другая важная встреча. В мае того года я сделал запись в своем дневнике: «Кафе «Савой». Театральное общество из Лемберга. Очень важно для Й. Ф.» – я в то время планировал роман. 4 мая: «Приходил с Кафкой в «Савой» этим вечером. Изумительно!» Франц написал заметки о Польской еврейской актерской труппе, игравшей народные драмы на идиш и певшей на этом языке, только в следующем году и посвятил им много страниц в своих записных книжках. Редко даже великие актеры удостаивались такого восхищения и глубокого понимания. Кафка с любовью описывал г-жу Клуг, г-на и г-жу Чиссик, г-на Пила и юного Исаака Лёви.

Я был главным вдохновителем в этом деле. В нашей дружбе было замечательно то, что я многому учился у Кафки, но в некоторых вопросах Кафка слушал меня. Полагаю, что в таких случаях он действовал импульсивно. Например, я активно посещал чтения и представления в кафе «Савой» и подробно изучал еврейский фольклор. И Франц, с тех пор как я впервые привел его туда, полностью проникся той атмосферой. С такой же пылкостью и самоотдачей он относился ко всему остальному. Любопытен случай, когда он был влюблен в одну актрису и очень хотел написать о ней[20]. Франц обращался с актером Лёви как с другом, часто водил его к себе домой, несмотря на неистовый гнев отца, который не принимал ни одного друга сына, и навел этого пылкого юношу на разговор о его жизни, окружении и творческом становлении и, таким образом, узнал об обычаях и духовном кризисе польско-русских евреев. Его дневник ясно говорит о том, что он почерпнул от Лёви. Кафка с рвением взялся за изучение еврейской истории и истории литературы на идиш – по французскому изданию монографии о еврейской литературе[21]. Значительная часть его записей содержит отрывки, вошедшие в его более позднюю книгу, в которую включены дискуссии, множество идей, где говорится о структуре и об особенностях литературы малых народов. В этих записях есть фрагменты, в которых Кафка подробно пишет о развитии чешской литературы. О многосторонности интересов Кафки

свидетельствует то, что в его записи включены отрывки из «Разговоров с Гёте» Бидерманна (упомяну о том, что в более поздних дневниках Кафки есть цитаты из «Воспоминаний графини Тюргеймской», которые, как он писал, «были моей радостью до последних дней», из «Воспоминаний генерала Марселлина де Марбо» и из «Немцев в России в 1812 г.». Кафка предпочитал их биографии и автобиографии всему остальному. Дневники Грильпарцера и Геббеля, письма Лафонтена он любил больше всего и знал их лучше, чем художественные произведения этих авторов).

Может быть, почтовая открытка, содержание которой я приведу ниже, даст некоторое представление о том, с каким энтузиазмом Кафка погружался в мир культурных интересов польских евреев, который был для нас таким новым:

«Дорогой Макс!

Мы счастливы! Они издали «Суламифь» Гольдфадена. С удовольствием оставляю тебе место, где бы ты написал о том, что тебе уже удалось прочитать. Надеюсь, что ты мне напишешь об этом».

Франц начал писать своего рода биографию Исаака Лёви на основании предоставленного им материала, попутно анализируя творчество еврейского театра. Начало книги уцелело. Говоря вкратце, там в форме диалога дается хороший обзор различных аспектов еврейской культуры и обрисовывается круг интересов, занимавших в то время Кафку. Он описал еврейский народ более живо и колоритно, чем абстрактные теоретики сионизма. Было время, когда я вступал в контакты с сионистами и способствовал тому, чтобы они оказали влияние на моего друга. Центром сионизма был тогда пражский клуб «Бар-Кохба», а его вдохновителем – замечательный Хуго Бергман. Вначале Кафка отвергал идеи сионизма. Я тоже был со многим не согласен и поначалу стал посещать маленькое и не очень привлекательное кафе «Савой» на Цигенской площади, где обычно показывали низкопробные мелодрамы в знак протеста против сионистского академизма. Я ревностно отстаивал точку зрения, что, несмотря на неудачный юмор и весь вздор, эти представления лучше раскрывали суть иудаизма, чем философские умозаключения западных евреев, которые они старались навязать, по правде говоря, далекому от этого народу.

Я до тех пор не занимался кропотливым сбором сведений о взаимосвязи восточных и западных евреев, о Сионе и диаспоре. По правде сказать, Кафка дольше, чем я, не соглашался с

представителями сионистских кругов. Позже я стал убежденным сионистом и тщетно пытался убедить Кафку в необходимости проведения сионистской политики. Мы часто собирались со своими знакомыми и спорили. В моем дневнике от 18 января 1913 г. я нашел записи разговора с Бубером, Верфелем, Кафкой, Пиком и мной, который был посвящен той же теме. В дневнике от 23 августа 1913 г. написано: «После полудня с Кафкой. Купание, дискуссии. Разговоры о чувстве общности. Кафка говорит, что он не способен к солидарности, поскольку его сил хватает только для него одного. Он показывает мне письма Бетховена и Кьёркегора». В декабре есть маленькая заметка о том, что мы поссорились. Но 24 декабря уже было все в порядке. «Кафка говорил о социальном вопросе. В городском парке».

Затем Кафка постепенно приблизился к моей точке зрения, и в знаменательные дни 1918-го и 1919 гг., когда были созданы Еврейский национальный комитет и еврейская школа, он был на моей стороне и разделял мои интересы. Он был для меня поддержкой. В конце концов, серьезно изучая иврит, он оставил меня позади.

Но я отвлекся. Вернемся в то время, когда бедная еврейская труппа дала нам мощный импульс, который способствовал нашему дальнейшему развитию. Кафка неустанно интересовался бытовыми вопросами артистов еврейской труппы, которые постоянно нуждались. Согласно его дневнику, он составил список всех сионистских клубов в Богемии, чтобы их по возможности посетить. Он даже сделал копии этих списков. Это говорит о том, как много неизрасходованной энергии дремало в нем до тех пор, пока его не искалечила необходимость зарабатывать на жизнь, несбывшиеся планы о семье и многое другое. 12 февраля 1912 г. Кафка организовал поэтический вечер для Лёви в банкетном зале Еврейского общества. На него легли заботы по техническому оснащению и подготовке вечера. Он взялся за дело со вздохом, но не без гордости. Речь, которой Кафка открыл вечер, сохранилась в записях моей жены. Она начинается такими словами: «Перед тем как польские евреи начнут свои выступления, я хочу сказать вам, дамы и господа, что вы поймете идиш гораздо лучше, чем можете ожидать. Я вовсе не волнуюсь по поводу того, какое впечатление произведет на каждого из вас этот вечер, но хотел бы, чтобы актеры играли свободно, как они того заслуживают. Но это не удастся, если кто-то из вас…»

Несомненно, русский друг из «Приговора» оставил свой след в душе актера Лёви. Как волнуют сердце эти дневниковые записи: «Мы сострадаем актерам, которые так прекрасно играют и ничего не зарабатывают и к тому же даже не получают благодарности и

похвал. Можно лишь жалеть об их печальной судьбе». По пути из Праги, после того как распалась труппа, Лёви заехал в Будапешт. Среди бумаг Кафки я нашел письмо Лёви из Вены. Оно очень своеобразно с точки зрения грамматики и орфографии: «Как это я потерял Ваше письмо?.. Я свернул с обычной дороги, и у меня больше нет ни друзей, ни родных, ни семьи… и самый дорогой из них, д-р Кафка, также потерян… Мне никогда не снилась такая потеря… В конце концов, только Вы были так добры ко мне… Лишь Вы один проникали в мою душу, только Вы меня понимали. И, к глубочайшему моему прискорбию, я вас потерял. Вы, конечно, не должны мне отвечать, я не заслуживаю вашей доброты. Пожалуйста, не думайте, что я сумасшедший, я – нормальный, холодный, как смерть». В другом письме есть мрачные строки: «Чего я могу ожидать? Следующей дозы морфия». Кафка написал ответ на это письмо:

«Дорогой Лёви!

Я очень рад тому, что вы обо мне вспомнили; не думайте, что я о вас забыл, потому что долго тянул с ответом. Я очень смущен, но у меня было много работы, от которой я не мог оторваться.

Во всяком случае, для вас есть хорошие новости. Я взял на себя обязательство и полагаю, что смогу сделать для вас что-то хорошее и нужное, если, конечно, этому не помешают обстоятельства изменчивого мира.

То, что вы в затруднении и не можете найти выхода, очень печально. То, что вы так долго находитесь в Венгрии, странно, но, вероятно, у вас есть на то основания. Полагаю, что нам было бы лучше вместе гулять вечерами по окрестностям Праги. Во всяком случае, я не теряю надежды, что у вас все будет хорошо. Вы легко отчаиваетесь, но и легко делаетесь счастливым. Только следите за здоровьем, готовясь к лучшим дням. Если вам плохо, не делайте себе хуже, причиняя ущерб своему здоровью.

Я хотел бы узнать побольше о вас и ваших друзьях.

Не собираетесь ли вы сейчас в Карлсбад? С моими наилучшими пожеланиями.

Франц К.».

Не знаю, получил ли Лёви это письмо и что с ним стало. Сомневаюсь, что он еще жив.

1911 год. Конец августа. Отдых, веселье! Мы в Цюрихе, затем в Флюэлене, у озера Лугано. Мы постоянно купались. Стояли чудесные солнечные дни. Наша дружба в то время становилась все крепче. Рабочий год наконец-то окончился, и мы вознеслись на головокружительную высоту, испытывая моменты приятного

волнения. Вот что я нашел в своих записях от 13 марта: «Кафка разбудил меня звонком, потому что свет в его комнате сначала померк, а потом окончательно погас». Я выразил свои дружеские чувства, переложив на музыку его стихотворение «Душечка, как ты танцуешь». Я сочинил простую мелодию, сопровождаемую вариациями на фортепьяно. Позволю себе заметить, что Кафка, имевший дар музыкальной речи, не имел таланта к самой музыке. Я часто замечал, что многие авторы, чьи стихи или проза отличаются хорошей музыкальной ритмичностью, не обладают блестящими способностями для ориентации в мире музыкальных звуков. Кафка не играл на музыкальных инструментах. Он как-то признался мне, что не может сказать, в чем состоит разница между «Веселой вдовой» и «Тристаном и Изольдой». В этих словах – значительная доля правды. Они говорят о том, что он никогда не стремился познать высокую музыку. Но вместе с тем у него было природное чувство ритма и звуковой гармонии. Я часто слышал, как он пел самому себе балладу Лёви «Граф Эберштейн», которую любил больше всего.

Я часто водил Кафку на концерты и обращал внимание на то, что его восприятие носило чисто визуальный характер. «Когда я слушаю музыку, вокруг меня словно вырастает стена, – пишет он в своем дневнике после концерта Брамса. – Единственное ощущение, которое возникает у меня во время прослушивания музыки, – это чувство свободы». Затем приводится описание певцов, публики, и нет ни одного слова о музыке. Франц был наиболее восприимчив к постановкам и декламации. Сколько вечеров мы провели с ним в театрах и кабаре и сколько – в барах с прелестными девушками! Мнение, что Кафка был аскетом или отшельником, в корне неверно. Он вовсе не мало требовал от жизни, скорее, наоборот, он требовал слишком много – всего или ничего, – и в результате этого в последние годы жизни он избегал любовных отношений, считая эротическую сторону жизни слишком серьезной. Он никогда не рассказывал грязных историй, и в его присутствии никто их не рассказывал. Надо сказать, что он никогда против этого не протестовал, просто не было случая, чтобы кто-нибудь при нем говорил о подобном. Но в его молодые годы этот строгий образ мысли еще не выражался так отчетливо. Я помню его страсть к буфетчице по имени Ханси. Он как-то сказал ей, что благодаря ее размерам на нее мог бы сесть верхом кавалерийский полк. Франц был очень несчастен, когда продолжалось это увлечение. На фотографии, где он снят вместе с Ханси, Франц выглядит так, будто ему хочется немедленно убежать. В моем дневнике есть запись: «Бар «Трокадеро». Он [Франц] выражает любовь к Германии тем, что предпочитает

немецкие почтовые марки. Но он так робок. Когда он говорит: «Я заплачу за тебя», то улыбается так, словно иронизирует».

Во многих его письмах упоминаются подобные связи с женщинами. Эти двусмысленные и «нечистые» связи (это было его мнение, и большинство из этих связей были таковыми только в его воображении) оставили значительный след в трех его великих романах. Упоминания о них есть и в других рукописях. Я хочу процитировать здесь одну открытку и три письма, которые свидетельствуют о его тоске и неудовлетворенности, которые он испытывал по поводу женщин.

«Мой дорогой Макс!

Я сижу на крытой веранде. Кажется, накрапывает дождь. Я поднял ноги, чтобы защитить их от соприкосновения с холодным кирпичным полом, положил их на перекладину стола и оставил открытыми только руки, которые пишут. Я пишу тебе, чтобы сказать, что я очень счастлив и был бы рад, если бы и ты сюда приехал, поскольку в лесу подо мхом можно годами хранить разные вещи и думать о них беспрестанно. До встречи, я скоро вернусь.

Твой *Франц*».

6/9/1908

«Дорогой Макс!

Спасибо тебе. Я уверен, что ты простишь меня за то, что я не поблагодарил тебя ранее, когда узнаешь, что в воскресенье утром и в первую половину дня я пытался поработать, но напрасно, ужасающе напрасно (конечно, из-за моего физического состояния), и остаток дня провел со своим дедушкой, время от времени сокрушаясь по поводу бесполезно летящих часов. Признаюсь тебе, что вечером я пребывал на софе рядом с кроватью моей дорогой Х., в то время как она вертелась под красным одеялом и переворачивала с боку на бок свое мальчишеское тело. Вечером собираюсь пойти на выставку, ночью в бар, думаю вернуться домой в половине пятого. Я посмотрел твою книгу, за которую снова тебя благодарю. Я немного почитал ее.

Твой *Франц*».

«Дорогой мой Макс!

Сейчас полдвенадцатого ночи, и это неподходящее время для того, чтобы писать письма, даже в такую жару. Этой ночью так жарко, что даже мотыльки не летят на свет лампы. После светлых счастливых дней, проведенных в Богемском лесу, – когда бабочки

летали так высоко, как ласточки у нас дома, – я провел четыре дня в Праге. Меня не покидало чувство безнадежности. Никого не было рядом со мной, и я не находился ни с кем рядом, но второе – это только следствие первого. Только от твоей книги, которую я читаю очень внимательно, мне становится легче. Я чувствую себя несчастным очень долгое время и не нахожу этому никакого объяснения. Пока я читаю твою книгу, я крепко прижимаю ее к себе, несмотря на то что она все-таки не предназначена для облегчения моей печали. Если я не делаю этого, у меня возникает острое желание выйти на улицу и найти кого-нибудь, кто просто дружески похлопал бы меня по плечу. Вчера я ходил в отель с проституткой. Она была в достаточно зрелом возрасте, чтобы предаваться меланхолии, но была печальна, и ее не удивило, что кто-то обращается с проституткой не так нежно, как с любовницей. Я не принес ей никакого утешения, потому что она ничем не облегчила мое состояние».

«Дорогой Макс!

Пишу тебе не потому, что в этом существует неотложная необходимость, а потому, что очень быстро нашел ответ на твой вопрос, который ты задал мне вчера по дороге домой (не совсем «вчера», потому что сейчас четверть второго ночи). Ты сказал, что она любит меня. Почему ты так считаешь? Это шутка или серьезное прозрение? Она любит меня, но ей не приходит в голову спросить меня, с кем я был в гостях у Стеховича, что я делал все эти дни, почему не поехал вместе с ней на пикник в выходные и т. д. Вероятно, когда мы были в баре, она не нашла для этого времени, но когда мы отправились на прогулку, возможностей было предостаточно, и любой ответ порадовал бы ее. Но для всего можно придумать благовидный предлог, хотя в следующем случае нельзя даже попытаться это сделать. В Д. я ужасно боялся встретиться с В. и сказал ей об этом. Тотчас же и она стала бояться наткнуться на улице на В. Это сделало нас простыми геометрическими фигурами. Ее отношение ко мне полно доброжелательности, но абсолютно не похоже на любовь, которая проходит свой особый путь, развиваясь от низшей стадии до высшей. Ее чувства – нечто совсем иное. Больше я не хочу вникать в это дело, потому что оно для меня ясно.

Мне хочется спать, и я в самом деле заслужил сон.

Твой *Франц*».

Конечно, у нас часто было слишком много дел, чтобы говорить друг с другом о наших первых опытах с женщинами, и Франц лишь изредка вспоминал о своих отношениях с

французской гувернанткой, которые были незадолго до того, как он о них рассказывал. Кроме того, он рассказывал о женщине, которую встретил однажды в Цукмантеле. Я нашел открытку из Цукмантеля, на которой рукой Франца был написан мой адрес. Он написал о том, как, гуляя по лесу, увидел совершенно незнакомую женщину. «В этом лесу можно стать счастливым. Так пойдем же туда!» Подпись совершенно неразборчива. Позднее, в 1913 г., в Риве, у Франца был любовный эпизод, о котором он хранил молчание. В его дневнике есть запись за 1916 г.: «У меня не было связей с женщинами с тех пор, пока я не побывал в Цукмантеле. И вот в Риве я встретил швейцарскую девушку. Если у меня первой была женщина, а я был неопытен, то эта была ребенком, и я вконец запутался».

В Лугано мы счастливо жили на открытом воздухе. Франц очень любил быть на природе, это вселяло в него радость. Мы проводили дни в Бельведерском отеле на озере Лугано и в купальнях возле озера. Мы подолгу гуляли, а вечера проводили на террасе отеля. Обычно мы ревностно хранили наши дневники, но во время того отдыха у нас не было секретов друг от друга. У нас был план совместного написания новеллы «Ричард и Сэмюэл». Мы любили записывать наши впечатления в дневники. Например, когда мы плыли на пароходе по озеру Люцерно, нам было жаль находившихся там туристов, которые могли запечатлеть красоты окружающей природы только с помощью фотоаппаратов и у которых, по всей видимости, не было и мысли о том, чтобы прибегнуть к высокому искусству – написать о путешествии в дневнике.

У нас был и другой план, который возник во время короткого, но имевшего огромное значение путешествия, согласно которому нам предстояло посетить Милан, а затем оттуда направиться в Стрезу и Париж. Этот план граничил с безумием, но мы вдвоем разработали его с решимостью и за обсуждением много шутили. У нас возникла идея создать новый тип путеводителя. Предполагалось, что серия путеводителей будет называться «Дешево». Были такие названия: «Дешево через Швейцарию», «Дешево в Париже» и т. д. Франц по-детски радовался, составляя эти «путеводители», описывал в тончайших деталях, каким образом нам можно будет стать миллионерами и избавиться от рутинной конторской работы. Я с полной серьезностью написал и представил издателям план «реформы путеводителей». Переговоры всегда застопоривались из-за того, что издателям казалось, будто мы не желаем открывать некий секрет без огромной предоплаты.

Франц виртуозно балансировал между серьезным и

комическим. Часто было невозможно понять, говорит ли он серьезно или шутит: он даже сам не всегда это осознавал, просто отдавался своему воображению. Мы представляли себе, что плакаты с рекламой нашего путеводителя уже висят на стенах парижского метро или возле других известных достопримечательностей. «Дешево» призывало к тому, чтобы туристы пользовались только одним отелем в каждом городе, только одним транспортным средством, что дало бы хорошую экономию денег. Кафка писал: «Отправляться согласно плану легче, поскольку он способствует точности». В «Дешево» есть отдельная глава, в которой даны ответы на следующие вопросы: что делать в дождливый день; какие покупать сувениры; какую носить одежду; как достать дешевые билеты на концерты; где и как можно получить контрамарки в театр; в картинных галереях смотреть только самые известные картины, но очень тщательно их изучать. Мы также составили забавный разговорник, разработанный по принципу: «Невозможно изучить иностранный язык по-настоящему. Поэтому мы предпочитаем преподать его вам наиболее скорым методом. Это не создаст вам трудностей и будет вполне доступно вашему пониманию. Это – своего рода эсперанто, плохой французский или плохой английский, изобретенный нами. В заключение мы добавили диалекты и язык жестов для местного использования». Все наши планы, которые мы строили так весело и дружно и над слабостью которых мы посмеивались, не лишены были, конечно, и скрытой иронии, прямо относящейся к нашим недостаткам – неспособности к изучению языков и вынужденной экономии, в которую ввергали нас стесненные обстоятельства.

Признаюсь, что легкая тень набегала на те дни, которые до сих пор так ярко сверкают в моей памяти. В своем дневнике я писал: «Что за мысль, будто Платон несколько раз пытался использовать свое учение на практике! Что на самом деле происходило внутри его и вокруг него? Разум, который связывается с именем Платона, никак не подходит к этой, несомненно, безумной реальности. И разве не должны были его современники смотреть на подобного человека, который, в конце концов, ошибался в столь многих вопросах, как на глупца и зануду? Последующие поколения не сильно пострадали от его крайностей, и поэтому его «идеальный мир» ярко светит далеко вперед, но мы забываем, что эти крайности и этот «идеальный мир» являются еще и составными частями друг друга. И чтобы быть абсолютно честным, разве не казался мне Кафка время от времени глупцом и занудой? Например, в Лугано, когда он отказался принять слабительное, следуя принципам

«естественной медицины», и мучил меня целыми днями, оглашая воздух жалобными стонами? В то же время Кафка был исключением среди гениев, он был необычайно внимателен и чуток к людям. Он помогал человеку до тех пор, пока сам не переставал чувствовать в своей душе возникший диссонанс, – в соответствии со своим гениально-творческим пониманием. Но в то же время в нем можно было отметить и отсутствие некоторых необходимых качеств, например должной пунктуальности. Это, правда, было едва заметно».

На следующий, 1912 г., отправившись в Веймар, мы были очень хорошо подготовлены к посещению города, в котором столько лет жил Гёте. Мы испытывали к нему особую любовь и годами изучали его творчество. Нужно было слышать, с каким благоговением Кафка говорил о Гёте, словно ребенок о своем предке, жившем в более счастливые, светлые дни и бывшем в прямом контакте с божественным.

И снова я вынужден отметить некоторые неприятные моменты. Кафка иногда подчеркивал, что он бывал поражен, насколько некоторые авторы бездумно цитируют Гёте. Цитаты Гёте, кроме всего прочего, ослепительно выделяются на фоне прозы любого писателя. О необычном отношении Кафки к Гёте свидетельствуют следующие записи из его дневника: «Гёте своей мощной прозой, возможно, замедляет процесс развития немецкого языка. Даже если он не создавал прозаических произведений в переходный период, желание писать возвращалось к нему с новой силой и оборачивалось стремлением употреблять архаические формы речи, которые можно найти в его прозе, но которые в целом не имеют с ним ничего общего и не мешают наслаждаться целостной картиной его произведений».

Отношение Кафки к немецким классикам можно выразить цитатой из Дильтея: «У него было это живое движение души, которое при постоянно изменяющихся жизненных обстоятельствах снова и снова удивляет, показывая нам все новые стороны жизни, что характерно лишь для истинных поэтов».

Мы с почтительной признательностью посетили Веймар в первый и в последний раз. Чтобы дополнить картину, я приведу отрывок из моего «Королевства любви». Там я описал, как мы, двое жалких чиновников, смогли потратить на Веймар не целый месяц, а лишь чуть больше недели.

«В летний отпуск они вместе отправились в путешествие в Веймар и всего лишь на один месяц. В первый раз они имели возможность поклониться пламенной силе гения Гёте в его родном городе, в то же время оба они находились под воздействием модного в то время пренебрежительного отношения

к его величию. В этом случае они не нуждались во взаимном влиянии – единственным результатом, возможно, было то, что они лишь усиливали чувства друг друга. Более того, у друзей не возникло желания изучить Веймар, и они жили там словно на летнем курорте, каждый день купались в городском бассейне. По вечерам они съедали по целому блюду отменной клубники в ресторане на Городской площади. Кроме всего прочего, они намеревались хорошо отдохнуть.

Но все, что касалось Гарты, принимало особые формы – не в соответствии с желаниями самого Гарты, а исходя из его натуры – честной и правильной (что шло не от головы, а от сердца). Можно было наблюдать, как расцветало крошечное нежное чувство между ним и милой дочерью смотрителя дома Гёте. Назвать это любовью было бы слишком поспешно: это была стыдливая, дразнящая, возможно, немного болезненная радость видеть друг друга. В результате Гарта и Кристоф вместе с ним попросили у смотрителя комнату, которая находилась рядом с мемориальными комнатами Гёте. Из нее был выход в сад, и можно было ходить по комнатам Гёте в те часы, когда не было наплыва туристов. Они представляли себе, что принадлежат семье Гёте – пусть и на далеком расстоянии, сквозь глубину древности. Как призрак бродило эхо музыки Гёте во время их радостных встреч с дочерью смотрителя в наполненном благоуханием роз саду, чьи древние стены были увиты зеленым плющом. И повсюду ощущался дух Гёте, везде незримо присутствовал этот царственный старик.

Остальные достопримечательности Веймара – даже те, которые были связаны с Гёте, – они осмотрели очень поверхностно. Жизненный опыт Гарты всегда был полон пробелов. Единственное явление он понимал до конца, с проникновением в самую глубину, – человеческую любовь. Других вещей он не мог полностью постичь. Это могло бы обернуться стереотипной гордостью: активная жизнь не требовала записей впечатлений. Но Гарта считал это не своим достижением, но лишь своей личной слабостью, недостатком, состоящим в том, что он не имел достаточных способностей для полного проникновения в суть вещей, и когда он встречал человека, обладающего даром постижения действительности, или полагал, что тот при желании способен это сделать, то восхищался им без всякой меры. Исходя из многих признаков, можно было предположить, что Гарта считал Кристофа первоклассным представителем этого рода – возможно, не совсем корректно. Как бы то ни было, они оказывали друг на друга чрезвычайно благоприятное воздействие. Поэтому они были немного

травмированы, когда им надо было разлучиться после совместного пребывания в Веймаре. Кристоф отправился домой, Ричард – на оздоровительные процедуры в горы Харца. Они немного проехали вместе на поезде. На узловой станции, где их пути расходились, Кристоф с неожиданным наплывом чувств обнял своего друга и легко поцеловал его – только один раз – в щеку. Когда друзья вместе вновь оказались дома, они не разлучались ни на один день и не могли наговориться. Много дней они провели в старом плавательном бассейне Праги «Зивил», лежа на раскаленных досках под осенними каштанами, или около Влтавы, которая становилась все холоднее. Свои проблемы по поводу работы, семьи, впечатления о первых встречах с девушками – все это они поверяли друг другу».

Путешествие в Веймар было примечательно еще и тем, что наш путь проходил через Лейпциг, где я познакомил Франца с Эрнстом Роволтом и Куртом Вольфом, работавшими в издательском доме. Я долго лелеял мечту увидеть книги моего друга напечатанными.

Отношение Франца к моему желанию было противоречивым. Он хотел этого и вместе с тем не хотел. Некоторые свои работы он считал готовыми к опубликованию, а многие – не подходящими для этого. Иногда перевешивало его нежелание, особенно в то время, когда он, вернувшись в Прагу, принялся за работу и стал отбирать короткие отрывки прозы, достойные, по его мнению, опубликования. Иначе говоря, это были отрывки из его дневников, и он придавал им окончательный блеск, что происходило со значительными колебаниями и сомнениями. Этот процесс также сопровождался изучением словарей, и Кафка приходил в отчаяние оттого, что не вполне точно знал правила орфографии и пунктуации. Издатели наконец выразили готовность опубликовать его произведения (о, это были счастливые дни!) после того, как просмотрели образцы прозы, которые я взял с собой в Лейпциг. Теперь дело оставалось только за Францем – представить выбранную рукопись. И в этот момент он стал буквально отбиваться от меня – серьезно и настойчиво, – говоря, что все написанное им ничего не стоит и все эти старые «никчемности», собранные вместе, не позволят ему продвинуться дальше и написать что-нибудь стоящее. Но я не мог этого допустить. Кафка писал в дневнике о том, как он оказывал мне сопротивление, но это ему не помогло. Когда оказалось, что количество отобранного Францем материала, который он считал стоящим публикации, очень мало, издатели решили напечатать «Наблюдения» – таково было название книги – необычайно крупным шрифтом. Первое издание, теперь очень редкое,

состояло из восьмисот экземпляров по девяносто девять страниц, заполненных гигантскими буквами, и напоминало старинные манускрипты.

И таким образом, с помощью тех редких случаев, которые, согласно Шопенгауэру, не имеют в себе ничего случайного, глубинный характер его великой прозы был непревзойденно выведен наружу.

Итак, сопротивление Франца было сломлено и обернулось победой добрых сил, которые в те легендарные дни противостояли злой воле мира.

Годом раньше, когда мы были в Лугано, я настаивал на том, чтобы мы с Кафкой вместе стали писать «Ричарда и Сэмюэла». Мы начали. Работа вскоре остановилась. Я все же написал значительную часть произведения, которая была напечатана Вилли Хаасом в «Herderblatter». В этом произведении говорится о том, что дружба переживает взлеты и падения, и о сложности дружеских взаимоотношений. Во время путешествия между друзьями возникла ссора, произошел конфликт по многим вопросам, и только угроза холеры в знойном Милане, когда я довел Франца до слез, умоляя его пристрелить меня, прежде чем я умру здесь, на чужбине, возродила из пепла наши былые чувства. «Путешествие закончилось для двух друзей решением объединить свои силы и создать новое литературное произведение», – говорится в предисловии к опубликованной главе. Два друга, конечно, не были брошены на произвол судьбы, и Сэмюэл тоже, который намеревался стать практичным, богатым и независимым. И все-таки мы изрядно повеселились над характеристиками, которые Ричард дал Кафке и которые я дал Сэмюэлу, несмотря на то что мы шли к этому разными путями. Но Франц был против этой работы, и хорошо, что, в конце концов, я хотя бы некоторое время смог поучительно потыкать его носом в его ошибки.

Наконец, он вплотную занялся писательским трудом, преодолел внутренние противоречия, усилием воли выбрался из бесплодного периода – из того времени, когда мы писали «Ричарда и Сэмюэла» и когда его дневник стал гораздо богаче (совершенно случайно, как исключение, Франц нашел некоторое удовольствие в работе над «Ричардом и Сэмюэлом»), а также в самодисциплине, которой он занялся, проникшись идеей Шиллера «о трансформации эмоций в свойства характера». Так качество и количество его произведений росло до тех пор, пока не достигло своего апогея, когда за одну ночь с 22 на 23 сентября на одном дыхании он написал «Приговор». Эту волнующую ночь Кафка описал в своем дневнике – и я уверен, что это

самораскрытие останется важнейшим документом для понимания сущности художника. «Именно так следует писать, только в такой взаимосвязи, как эта, только полностью раскрыв свое тело и душу». Но в то же время, сказав это, без всяких жалоб, он выразил еще и строгое осуждение пагубной необходимости зарабатывать себе на хлеб насущный.

Спасительным для Франца был визит в Берлин Ф. Б. (Фелиции Бауэр), с которой он поддерживал отношения на протяжении пяти лет. Описание этой столь важной для Кафки встречи начинается словами: «Когда я пришел повидать Брода 13 августа, она сидела за столом». Далее он продолжает: «Сев, я смог хорошо ее рассмотреть». Эта встреча также отмечена в моем дневнике от 13 августа: «Городское кафе. Кафка принес законченную книгу, и это мне необычайно нравится. Мисс Ф. Б. Я снова перечитал «Наблюдения». Божественно. Среда, 14 августа, я послал «Наблюдения» Роволту.

1912 год был решающим в жизни Кафки, два значительных события произошли в один и тот же день, 13 августа. Я сохранил маленькую записку, которую Франц отправил мне с посыльным на следующее утро. В ней, кроме всего прочего, говорилось о том, что было бы неверно отводить мне единственную роль человека, настаивающего на публикации, а Кафке – роль борца против этой публикации. В письме говорилось: «Доброе утро, дорогой Макс! Когда я работал вчера над отрывками, я полностью находился под влиянием одной девушки, в результате в текст вкрались некоторые глупости, а последовательность изложения может кого-то шокировать своей необъяснимой комичностью. Пожалуйста, посмотри – так ли это, и прими мои извинения вдобавок к тем, которые я тебе уже задолжал». Далее последовало изложение двух вариантов необходимых изменений.

Когда я вернулся 29 сентября из Порторозе, где я работал вместе с моим другом Феликсом Вельтшем над книгой «Восприятие и мысль», Франц пришел встречать нас на станцию и тотчас же стал говорить нам о своем рассказе «Приговор», который он только что окончил и с охотой давал мне для ежегодника «Аркадия». В том же 1913 г. рассказ был напечатан с посвящением невесте Кафки.

Сразу же после «Приговора» Франц приступил к работе над первой главой своего романа, который он, вероятнее всего, начал раньше, но теперь стал работать над ним в полную силу. Это был роман «Пропавший без вести, или Америка». Приведу фрагменты из моего дневника за тот период. 29 сентября: «Кафка в экстазе, пишет ночи напролет. Роман под названием «Америка». 1 октября: «Кафка в необычайном воодушевлении». 2 октября: «На

Кафку нашло вдохновение. Одна глава закончена. Я этому очень рад». 3 октября: «У Кафки дела идут удачно». 6 октября он прочитал мне «Приговор», «Кочегара» и первые главы из романа «Америка». Тут же после этого я вступил в переписку с его матерью (по поводу его предполагаемого самоубийства). 14 октября известный венский писатель Отто Штойсель, которым мы с Кафкой восхищались, остановился у меня, и мы вместе пошли на прогулку, втроем по улицам Малой Страны в Праге. 28 октября Франц написал письмо Ф. Б., в котором изложил свои опасения за будущее. Это письмо было началом прекращения их отношений. (В дневнике самого Франца с октября 1912-го до февраля 1913-го идет пробел, поэтому приведу выдержки из моего собственного дневника за тот период.) В записях от 3 ноября я нахожу: «Пришел к Бауму, и там Кафка читал нам вторую главу своего романа. Он влюблен в Ф. и счастлив. Этот его роман очарователен». 24 ноября Кафка прочитал нам у Баума «великолепный рассказ о вредном насекомом», из «Метаморфоз». Таким образом, в период с сентября до конца ноября 1912 г., то есть на протяжении двух месяцев, были созданы три из наиболее значимых произведений Кафки.

В «Приговоре», волнующем душу рассказе, идет повествование о том, как хороший и почтительный сын, которого, несмотря ни на что, отец считает дьявольским созданием, был приговорен к смерти – то есть к тому, чтобы быть утопленным. Прыгая в реку, он кричит: «Дорогие родители, все равно я вас всегда любил!» В этом рассказе на первый взгляд ясен психоаналитический подход, но при повторном анализе смысл становится все более скрытым. Франц написал три комментария к этому рассказу. Один из комментариев был изложен в разговоре со мной. Он сказал мне: «Знаешь ли ты, что означает последнее предложение? Когда я его писал, у меня было такое ощущение, будто извергается мощный вулкан». (Там идет описание самоубийства и написано: «В этот момент под мостом проплывало немыслимой длины торговое судно». – *Примеч. авт.*) Другой комментарий можно найти в дневнике Кафки, когда был напечатан рассказ:

«2/11/1913. Я выписываю из корректуры «Приговора» все взаимосвязи, которые стали мне ясны в этой истории. Это необходимо, поскольку рассказ появился, как и при рождении человека, покрытым грязью и слизью, и я – единственный, чья рука может вытереть это. Друг – это связь между отцом и сыном, высшее из того, что у них может быть общего. Сидя в одиночестве у окна, Георг глубоко задумывается над тем, что их связывает,

думает, что отец находится внутри его и что все, если не считать легкой печали, мирно и спокойно. Развитие повествования показывает, как благодаря другу отец занял преимущественное положение и превратился в оппонента Джорджа, укрепив свои позиции другими, менее распространенными привязанностями – любовью к матери, ее почитанием, а также с помощью клиентов, которых, и это правда, отец культивировал сам для блага своего бизнеса. У Джорджа не было ничего. Невеста, которая появляется в рассказе только вместе с его другом и лишь в качестве его принадлежности, даже и не помышляет о вступлении в брак и не пытается войти в кровоточащий круг, заключающий в себе отца и сына. Этот круг, впрочем, может быть легко разорван отцом. Все, что они имеют, – все исходит от отца. Джордж не видит в этом ничего, кроме чего-то чуждого, подобного русской революции, что должно быть принято как данность, но чему он никогда не последует. У него не осталось ничего, что сохранило бы образ его отца. Приговор разделил отца и сына мощной непреодолимой стеной».

«В имени «Георг» столько же букв, сколько в имени «Франц». В фамилии «Бендеманн» окончание «манн» лишь усиливает «Бенде», имеющее столько же букв, сколько «Кафка», и гласный «е» повторяется на тех же местах, что и «а» в фамилии «Кафка».

«В имени «Фрида» столько же букв, сколько в имени «Фелица»[22]. Оно начинается с той же буквы. Бранденфельд начинается с той же буквы, что и Бауэр, и «фельд»[23] тоже имеет смысл». Может быть, мысль о Берлине тоже появилась не без определенного влияния, и, возможно, какое-то отношение к нему имеет Бранденбургская провинция».

12 февраля: «Когда я описывал друга за границей, я много думал о Ст. Когда я случайно встретил его через три месяца после написания рассказа, он сказал мне, что уже три месяца, как обручился».

«После того как вчера у Вельтша я прочитал собравшимся свой рассказ, старый Вельтш, потрясенный его изобразительной силой, вышел из комнаты, а когда через некоторое время вернулся, то, простирая вперед руку, воскликнул: «Я видел здесь, прямо перед собой, этого отца!» – и как только он это сказал, то пристально посмотрел на стул, на котором сидел во время прочтения рассказа».

«Сестра сказала: «Действие происходит словно у нас дома». Я был удивлен тому, что она так неверно определила место действия рассказа, и сказал: «Что ж, в таком случае отец должен был бы жить в уборной».

В январе 1913 г. вышли «Наблюдения». Книга была посвящена М. Б., и на врученном мне экземпляре Кафка написал: «Сразу после выхода в печать – моему дорогому Максу – Франц Кафка». Год спустя я имел возможность отблагодарить его, посвятив ему мой роман «Тихо Браге».

Я написал о первой книге Кафки и о его литературной деятельности в целом в длинном эссе, появившемся при жизни Франца в «Нойе рундшау» в ноябре 1921 г.

Среди всего прочего я писал: «С какого места я должен начать? Я думаю, это не имеет никакого значения. Среди особенностей такого феномена, как Кафка, есть одна, которую можно рассматривать с различных точек зрения и все равно прийти к одному и тому же заключению.

Это свойство показывает, как истинен, как непоколебим гений, какой чистотой он обладает. Неверно, что под разными углами зрения свойства явления становятся иными, а то, что неоднородно, подобно радуге, переливается разными цветами. В случае с Францем Кафкой – хотя бы в отношении сферы «модернизма» – нет ничего «переливчатого», нет никаких переменчивых взглядов, никаких непостоянных сцен. Все в нем – правда, и ничего, кроме правды.

Возьмем, к примеру, его язык. Такие дешевые средства, как штамповка новых слов и словосочетаний, игра с предложениями, он презирал. Хотя «презирал» – это не вполне подходящее слово. Эти приемы были несвойственны ему так же, как грязь несвойственна чистоте, как она отрицается ею. Его язык был кристально чист, и даже поверхностный взгляд не мог увидеть никакой другой цели, чем надлежащее и ясное выражение сущности явлений. И еще раз подчеркиваю – этот чистый язык ясно отражал мечты и видения бездонной глубины. Тот, кто проникает в его язык, приходит в восхищение от его красоты и индивидуальности. Но не каждый может сказать – по крайней мере с первого взгляда, – в чем состоит особенность конструкции его простых предложений, которые вообще-то не содержат ничего, кроме правильности, значимости и простоты. Прочитайте несколько предложений Кафки вслух, вы почувствуете необыкновенную легкость дыхания. Разнообразие ритмов, казалось, подчинено каким-то таинственным законам; маленькие паузы между фразами имеют свою архитектуру, мелодия речи

такова, будто корни ее уходят в некую материю, не известную Земле. Все это – совершенно, истинно совершенно, и это совершенство имеет ту же форму, которая заставила Флобера прослезиться перед руинами Акрополя. Но это совершенство находится в движении и даже в сомнении. Размышляя по поводу «Детей на почтовой дороге», являющихся вступлением к его первой книге «Наблюдения», я прихожу к выводу, что это – классическая проза, которая в то же время полностью уходит корнями в деревенскую избу. Там вы имеете огонь, неугасимый огонь и кровь взволнованного детства, наполненного дурными предчувствиями, но бушующий огонь подчиняется указующему жезлу незримого дирижера; они бранят не языки пламени, а дворец, каждый кусок камня которого – это ревущий пожар. Язык Кафки совершенен, и именно поэтому не эксцентричен и не экстравагантен. Можно использовать дешевые приемы и трюки до тех пор, пока не достигнешь конечного предела – той линии, которая охватывает универсальность. Однако всеобщность не нуждается в трюках. Разве не глупеют все на этом уровне? В этом – значимость Кафки как художника. Я уже сказал, он совершенен в своем движении, на своем пути. Отсюда – всеобъемлющая гармония без попыток протоколирования, без грубых деталей. Отсюда – целый океан, наполненный торговой жизнью конторы с комическими происшествиями, сладостью погашения долга с помощью нового адвоката, который был поистине боевым конем Буцефалом. Отсюда – и беспокойный сельский врач, и маленький коммерсант-вояжер, и розовые блестки маленькой наездницы. Отсюда – эти превосходные предложения, обладающие артистизмом, и эта простота стиля, и каждая фраза, каждое слово, наполненные смыслом. Отсюда – неприметность метафор, которые в то же время (после того, когда их обнаруживаешь с удивлением) выражают нечто новое. Отсюда – спокойствие, широта, свобода, как над облаками, и еще – добрые искренние слезы и отзывчивое сердце. Если бы ангелы могли шутить на небесах, они выражались бы языком Кафки. Этот язык – пламя, не оставляющее сажи, наивысшее выражение бесконечного пространства. В то же время он трепещет и пульсирует, как и все живое.

Чистота не должна касаться нечистоты – в этом состоит ее сила и в то же время – слабость. Сила – потому, что она означает понимание, полное осознание расстояния между ней и абсолютом. Но это расстояние несет в себе и нечто негативное, слабость. И сила чистоты может выразить себя лишь в настойчивом старании не уменьшить это расстояние, но даже увеличить его подобно тому, как подзорная труба тысячекратно

увеличивает пространство. Тот, кто желает сохранить свои позиции, должен обладать силой и отвагой, он вынужден прибегать к двусмысленностям, и юмор – результат использования этого «двойного дна». И даже в сердцевине страха этого своеволия и упорства, окруженных опасностью, – потому что это был вопрос жизни и смерти, – играет милая улыбка. Это – особая улыбка, которая отличает работы Кафки, улыбка, близкая к запредельности, – метафизическая улыбка. В самом деле, иногда, когда он, как обычно, читал нам один из своих рассказов, на лице его возникала улыбка, и мы громко смеялись. Но очень скоро мы все затихали. Этот смех не приличествовал человеку. Только ангелы могли смеяться так – ангелы, которых мы определенно не могли описать так, как изображал Рафаэль своих херувимов. Нет, смеялись не ангелы, а шестикрылый Серафим – демоническое существо, посредник между человеком и Богом.

Сила и слабость, взлеты и падения были интерпретированы Кафкой в особой манере. На первый взгляд «слабость» ассоциируется с декадансом, сатанизмом, любовью к закату, смерти и ужасу, как это звучит у Эдгара По, Вилье де Лиль-Адана и других более поздних авторов. Но этот первый взгляд в корне неправилен. Рассказ Кафки «В исправительной колонии» не имеет ничего общего с По, хотя ужасные сцены возникают на протяжении сходной у обоих авторов тематической линии. Но сравнение только стилей писателей, и ничего другого, заставляет задуматься о многом. Что общего может быть у яркого колоритного повествования Кафки, с присущей ему уверенной изысканной линией, с вибрирующей прозой, даже как-то насильственно вибрирующей, и этих специалистов по бросанию людей в дрожь? Эти авторы, специализирующиеся на глубинном изучении притонов, испытывают относительный интерес к своим исследованиям и снабжают свои произведения небольшими религиозными резолюциями, нечто вроде: «мораль сей сказки такова…» – и они торчат, как сучки, где больше, где меньше, изо всех описываемых жизненных проблем. Писатели, даже поистине великие и честно заблуждающиеся! Разве вы не слышите, как звучат ноты «гордости за разрушение»? Но у Кафки всегда на первом плане – глубоко порядочный верующий человек. Он не проявляет никакого любопытства к безднам и порокам. Он видит их *против своей собственной воли.* Он не стремится к разложению. Но он попадает на этот путь, хотя идет узкой тропинкой, видит и любит определенность и последовательность, но больше всего – безоблачное голубое небо над головой. Однако это небо начинает хмуриться, как лоб сердитого отца. И чем ужаснее и отвратительнее страх перед безоблачным небом, тем

более потрясающ эффект изысканных работ Кафки. Его произведения более значимы, чем сенсации этих похожих на неоконченные наброски книг об «интересных», наводящих ужас патологиях.

Именно поэтому его «Метаморфозы», «Приговор» и другие произведения вызывают у читателей такой трепет. Потому что вокруг и внутри их раскрывается весь свободный мир. Его работы построены не на принципе «ужаснуть читателя», но скорее на принципе, противоположном «деланию ужасов», – возможно, идиллическом или героическом, в каком-то случае – честном, здоровом, жизнеутверждающем. Эти принципы тянутся ко всему нежному и доброму, в их основе – цветущее девичье тело, которое склоняется над мертвым героем в финале «Метаморфоз», сельский труд, все естественное, простое и свежее, преисполненная готовности к веселью детская непосредственность, счастье, миролюбие, физическое и психическое здоровье. Такими же принципами руководствовался доброжелательный Господь, когда он работал, творя мир «не для нас». И сквозь подоплеку Божественной воли это «не для нас» имеет потрясающий эффект, как прощение запредельного греха. Кафка не отрицает эту жизнь. Он не спорит с Богом, только – с самим собой. Отсюда потрясающая строгость, с которой он идет на Суд. Везде в его произведениях – кресла судей и приговоры, приведенные в исполнение. В «Метаморфозах» – не вполне совершенный человек превращается в животное, в насекомое. О! Что может быть ужаснее! «Отчет Академии», автор позволил животному подняться до человеческого существа, до уровня всего человечества, появиться на маскараде, где люди снимают маски. Но и этого было недостаточно! Человечество должно упасть еще ниже – остался вопрос «все или ничего», – и если люди не смогут поднять себя до Божеского уровня, если Отец признает его виновным, если целая общность с фундаментальной моралью предстанет перед Судом и перед вратами встанет дюжий привратник, а человек не имеет мужества оттолкнуть его прочь, когда «имперский посланник» умирающего князя солнца никогда к тебе не приходит, тогда можешь превратить себя в некий бесполезный предмет, неживой и в то же время живой, в моток пряжи, за которым присматривает «небесный эконом», бродя вверх и вниз по этажам без остановки. «Как же зовут тебя?» – «Одрадек» – и целый ряд славянских слов, и все они означают отступление, уход от своей собственной расы, «ветви», отступление от совета, «рады», божественного промысла, эти слова означают – «перебежчик». «А твой адрес?» – «У меня нет никакого адреса». Из этого отрывка можно понять, что Кафка,

наряду со всеобщей трагедией человечества, описывал еще и страдающих несчастных людей, бездомных, гонимых евреев, бесформенную, бездомную массу, какой еще не было на свете. Он написал об этом, нигде не употребляя слова «еврей», которое никогда не возникало и в других его книгах».

В мае 1913 г. вышел «Кочегар», первая глава романа «Америка», не опубликованного при жизни Кафки. Дело по изданию прошло без моего вмешательства. Я приведу письмо, которое демонстрирует отношения между Францем Кафкой и его издателем Куртом Вольфом и делает честь как автору, так и издателю. Курт Вольф писал 3 ноября 1921 г.:

«Дорогой и досточтимый г-н Кафка!

Две недели назад мне посчастливилось случайно встретить в Лейпциге Людвига Хардта, ехавшего из Праги, и я добрался с ним от Лейпцига до Берлина. Во время нашего совместного путешествия Людвиг Хардт рассказал мне о литературных вечерах в Праге и о том, какое удовольствие доставляет ему быть в Вашем обществе.

Разговор с Людвигом Хардтом предоставил мне удобный случай напомнить Вам о себе. Наша переписка редка и скучна. Никто из авторов, с которыми мы были связаны, так редко не обращаются к нам с вопросами, как Вы. В этом случае издателю следует время от времени напоминать автору о том, что отсутствие интереса к судьбе своих творений вводит издателя в заблуждение и заставляет его сомневаться в особой ценности того, что он издает. В глубине души признаюсь, что лично к Вам и Вашим работам я испытываю такое сильное чувство, какое я испытывал лишь по отношению к двум или трем авторам, чье творчество мы посчитали достойным для представления публике.

Вам не стоит судить о внешних результатах, заключающихся в количестве проданных книг. Мы с Вами знаем, что обычно именно лучшие и наиболее ценные вещи не сразу бывают востребованы, но это приходит позже, и мы должны верить, что в немецких читающих кругах однажды Ваши книги получат спрос, которого заслуживают.

Нам доставило бы особенно большое удовольствие, если бы Вы проявили к нам доверие и предоставили нам Ваши дальнейшие рукописи для публикации. Любую рукопись, которую Вы нам пришлете, мы с удовольствием напечатаем. Если Вы могли бы прислать нам Ваши рассказы – я знаю от Вас и от Макса Брода, как много у Вас их накопилось, – мы приняли бы их с особой благодарностью. Нужно также принять во внимание, что публика интересуется больше произведениями со связным,

определенным сюжетом, понятным для обыденного восприятия, чем разрозненными маленькими рассказами. Это – банальное и бесчувственное отношение со стороны читателя, но это так. Из-за шума, который поднимается вокруг длинных романов, мы не сможем достичь такого же уровня продаж Ваших рассказов, и успех данного рода литературы будет зависеть от того, как мы продадим предшествующий тираж.

Пожалуйста, дорогой г-н Кафка, дайте знать, на что мы можем надеяться в ближайшем будущем.

Надеюсь, что Ваше здоровье снова в порядке, и желаю Вам всего самого наилучшего.

Курт Вольф».

Несмотря на такого рода ободрение, Франц не смог завершить ни одного из трех своих длинных романов. Он планировал завершить роман «Америка». Я помню, что это было единственное произведение Кафки, заканчивавшееся на оптимистической ноте. С другой стороны, Франц одно время хотел привести своего героя Карла Россмана к трагическому концу. В своем дневнике от 29 сентября 1915 г. он сравнивает два своих романа «Пропавший без вести» («Америка») и «Процесс», герой которого назван К. Он показывает, что «Россман и К., невиновный и виноватый, оба, в конце концов, уничтожены судебными приговорами».

Роман «Америка» написан легкой рукой, светлыми красками, и в нем выражено больше надежд, чем в двух последующих книгах.

В этой книге также можно обнаружить короткий комментарий, автопортрет в дневнике. Я процитирую следующие строки, потому что в них выражена тонкая проницательность, с которой Кафка рассматривает творчество Диккенса, где восхищение этим автором сочетается с его острой критикой. И только сквозь прямое проникновение в суть вещей можно получить необычайную глубину и справедливость суждения. Его способен вынести только человек, кто при всей своей вере в непостижимое остается здравомыслящим и равнодушным к искушению впасть в дешевый мистицизм, кто никогда не позволял себе быть настолько ослепленным хорошими качествами человека или писателя, чтобы не увидеть их отрицательных свойств, и кому, с другой стороны, со всей очевидностью представлены пороки и недостатки каждого явления, не мешающие в то же время осознавать присущие ему достоинства. Так же, как Кафка оценивал Диккенса – ясно, правдиво и целостно, – так же он смотрел и на целый мир.

В одном месте дневника написано: «Копперфильд» Диккенса. «Кочегар» – полнейшая имитация Диккенса, но я хотел написать еще лучше. История железной дороги, распространяющий счастье очаровательный герой, работа прислуги, любовь в деревенском поместье, грязные дома и т. д. Кроме всего прочего – метод. Это было мое намерение, теперь я это вижу, написать роман в духе Диккенса, только обогащенный резким светом моего времени, и создать простоватого героя, которого я буквально высасываю из пальца. Талант Диккенса и беззаботный мощный размах, но в этой связи – пассажи ужасающей немощи, в которых царит невероятная мешанина, – вот чего он в итоге достиг. Грубость – результат бездумности в целом, грубость, которой я, благодаря своей слабости и умудренный своим эпигонством, все же избежал. В его манере переполнять повествование эмоциями чувствуется бессердечность; Диккенс использует оскорбительные, грубые характеристики, которые искусственно приделываются к каждому персонажу. Автор не смог бы стряпать без них свои истории даже для сиюминутного чтения».

Глава 5
Обручение

У Франца Кафки было высшее понимание брака. Он писал об этом в «Письме моему отцу»: «Жениться, создать семью, принять всех детей, которые появляются на свет, поддерживать их в этом изменчивом мире и даже повести их по жизненному пути – это, на мой взгляд, самое большое, что может сделать человек. То, что многим, казалось бы, это легко удается, не может противоречить вышеприведенному утверждению, поскольку, во-первых, на самом деле это удается немногим, а во-вторых, эти «немногие» обычно не стремятся к этому, а просто это так «случается». Для них это – не «самое большее», но благое и достойное уважения дело. В конце концов, речь идет не только о наивысшем, а о том, чтобы достойно приблизиться к нему. Иначе говоря, нет необходимости взлетать прямо к солнцу – достаточно пробраться к маленькому чистому месту на земле, иногда освещаемому солнцем, где можно было бы немного погреться».

Так же в рассказе «Одиннадцать сыновей» выражено высочайшее уважение к семье, к патриархальному образу жизни. В дневнике Франца описана необычайная радость отца, когда он рассказал всем домашним о том, что у него родился внук. Эта сцена описывается с той смесью изумления, глубокого одобрения, света и критической насмешки, которая характеризует отношения отца и сына в «Приговоре». Прозаический отрывок «Одиннадцати сыновей», которому уже дано было несколько объяснений, представляет собой, по моему мнению, желаемую картину отцовства и основ семьи, которая противопоставляется примеру отца как нечто равноценное, как нечто прекрасное и патриархальное, граничащее с мистикой во всей простоте жизни. Это объяснение не противоречит тому, что однажды сказал мне Франц: «Одиннадцать сыновей» – это просто одиннадцать историй, которые я сочинил в тот момент». Как-никак, эти истории были его сыновьями. В своих произведениях он достигал, хотя и вдалеке от своей семьи, независимо от нее, нечто подобное его отцовской созидательной мощи – в этом я следую точке зрения Франца, это не мое собственное мнение. Идеал, который возник у него перед глазами, когда он однажды прочитал «со сдерживаемыми рыданиями» книгу о войне 1870 – 1871 гг., – «быть отцом и спокойно говорить со своим сыном. Но ни у кого не может быть маленького молоточка вместо живого сердца». Можно представить, как подействовала на него встреча с девушкой, на

которой он первое время хотел жениться. Он познакомился с Ф. в августе 1912 г. Мы нашли среди бумаг Кафки набросок письма от 9 ноября 1912 г., где он писал:

«Дорогая барышня!

Вы не должны мне больше писать, и я не должен писать Вам. Своими письмами я делаю Вас несчастной, и сам ничего не могу с этим поделать. Я должен признаться, что не нуждался в том, чтобы прислушиваться к бою часов прошлой ночью, я полностью осознавал текущее время перед написанием моего первого письма, и если, несмотря на все это, я постараюсь прильнуть к Вам, то в любом случае заслуживаю проклятий, если меня уже не проклинают. Если Вы хотите, чтобы я вернул Вам Ваше письмо, я непременно сделаю это, но мне хотелось бы его сохранить. Но если Вы очень хотите, чтобы я Вам его отдал, вышлите мне открытку с просьбой об этом. Забудьте обо мне как можно скорее и живите мирно и счастливо, как и раньше».

Это письмо показывает, что Франца уже стал мучить страх и у него появилось желание отступиться.

Несмотря на это письмо или набросок письма, переписка между Прагой и Берлином продолжалась. Их отношения были долгое время как бы в подвешенном состоянии. Девушка начинала сомневаться, ей казалось, что Франц не подходит для обычной семейной жизни. Она хотела порвать отношения, вследствие чего он удваивал усилия, чтобы удержать ее. Когда от нее не было известий, он чувствовал себя несчастным. Когда от нее приходили новости, он мучился еще больше. Он не представлял, как сможет жить вместе с женой.

Это время было для него периодом высокой творческой продуктивности. Сразу же после «Приговора» он начал писать рассказ, главного героя которого звали Густав Блейкельт, повествовавший о «простом человеке с правильными привычками», умершем в возрасте тридцати пяти лет. «Боже упаси меня писать по принуждению», – дважды написал Кафка в своем дневнике. И «прилив крови к голове, и это бесполезное, бездейственное прошлое! Вот что ужасно!» У Баума он прочитал нам «Приговор» со слезами на глазах. «Жизненность этого рассказа подтвердилась». Эти строгие слова самоосуждения редко звучали в устах Кафки. В мае 1913 г. он пытался достичь успокоения работой в саду. 1 июля он писал: «Желаю покоя и одиночества. Может, найду это в Риве». Но от 3 июля мы находим: «Как расширяется существование благодаря браку! Фраза в духе поучения». 21 июля он сам составляет список

аргументов «за» и «против» брака. После этого списка идут волнующие душу пронзительные восклицания: «Как я жалок!» и «Какое несчастье!». Вот список его аргументов:

«1. Неспособность одному переносить жизнь, не означающая неспособность жить; мне даже непонятно, как я смогу с кем-либо жить, но я не могу выносить напора моей собственной жизни, властного желания писать, бессонницы, приближения сумасшествия. Может быть, союз с Ф. даст мне возможность сопротивляться.

2. Все побуждает меня размышлять: каждая шутка в юмористической газете; каждое упоминание о Флобере и Грильпарцере; вид ночных рубашек, лежащих на кровати родителей; женитьба Макса. Вчера Н. Н. сказала: «Все женатые мужчины (из наших знакомых) счастливы, я этого не понимаю». Когда она это произнесла, я снова почувствовал страх.

3. Я должен быть долгое время один. Все, чего я достиг, – результат только одиночества.

4. Я ненавижу все, что не связано с литературой. Мне скучно вести разговоры (даже о литературе), мне ужасно скучны печали и радости моих родственников. Разговоры уничтожают важность, серьезность и правдивость всего, чего они касаются.

5. Страх перед соединением с кем-либо. После этого я уже никогда больше не смогу быть один.

6. Перед моими сестрами, особенно в юности, я часто представал совсем иным человеком, чем перед другими людьми. Я был перед ними бесстрашным, сильным, неожиданным – таким, каким я бываю только тогда, когда пишу. Если бы я мог быть таким перед всеми благодаря жене! Но не будет ли это происходить за счет моей литературной работы? Только не это!

7. Оставаясь холостяком, я, может быть, когда-нибудь и ушел бы со службы. Но я никогда не смогу сделать этого, будучи женатым».

13 августа он сделал запись: «Может быть, уже все кончено и мое вчерашнее письмо могло быть последним письмом Ф. Это было бы, без сомнения, правильно. Как я сейчас страдаю, как будет страдать она – это ничто по сравнению с теми муками, которые предстояли бы нам вместе. Я постепенно соберусь с силами; она выйдет замуж, это – единственный выход. Мы не сможем вдвоем прорубить дорогу в скалах, достаточно того, что мы целый год плакали и мучились над этим. Она поймет это из моих последних писем. Но если все же она не поймет, мне, конечно, придется жениться на ней, поскольку я слишком слаб,

чтобы противостоять ее убеждениям о нашем совместном счастье, хотя я и не могу осуществить того, что она считает возможным».

Но дело приняло другое направление. В августе 1913 г. Франц пишет: «Произошло все наоборот. Пришло три письма. Перед последним я не мог устоять, я люблю ее, но моя любовь задыхается под страхом мучений самого себя». 18 августа, во время продолжительной прогулки, он сказал о том, что сделал предложение Ф. Потом, когда я нашел его в детском парке, он дал мне несколько мудрых советов по поводу моих тогдашних терзаний, а затем, уже менее уверенно, стал говорить о своих собственных делах. Я написал в своем дневнике об этом разговоре: «Франц о своей помолвке. Он несчастен. Все или ничто. Его оправдания – чистые эмоции, без анализа, который здесь невозможен. Сложная ситуация, требующая моего пристального внимания. Он говорил о Радешовиче[24], где было много замужних женщин, наполненных сексуальностью и нерожденными детьми. Уже рожденные дети царили повсюду. Кафка, казалось, готов был покинуть этот мир». О таком же отчаянии можно узнать из его дневника за 15 августа:

«Под утро мучения в постели. Единственным способом избавиться от страданий мне кажется прыжок из окна. Мать подошла к моей кровати и спросила, послал ли я письмо, и я ответил еще более резко, чем в прошлый раз. После она спросила, не собираюсь ли я написать дяде Альфреду, и добавила, что он заслужил, чтобы я ему написал. Я спросил: чем он это заслужил? Она ответила, что он посылал телеграмму, писал и вообще хорошо относится ко мне. «Все это неискренне, – сказал я. – Он мне совершенно чужой и меня абсолютно не понимает, понятия не имеет о том, чего я хочу и чем живу». – «Да, конечно, тебя никто не понимает, – ответила мать. – Полагаю, что я тебе также чужая и отец тоже. Мы все желаем тебе только плохого». Конечно, вы все мне чужие, нас связывает лишь кровное родство, но оно ни в чем не выражается. Зла вы, конечно, мне не желаете».

Из этих самонаблюдений я сделал вывод, что моя внутренняя уверенность дает возможность сохранить себя в браке и что брак может быть для меня даже благоприятным шагом. Однако я пришел к такому заключению, находясь на краю окна».

Я закроюсь от всех и буду в одиночестве. Я со всеми поссорюсь и ни с кем не буду разговаривать».

Кафка прочитал антологию Кьёркегора «Книга Судии». Он увидел сходство между судьбой Кьёркегора и его собственной.

В сентябре 1913 г. он нашел убежище в Риве, в Гартунгенском

санатории. «Сама мысль о медовом месяце повергает меня в ужас», – писал он мне. У него был любопытный эпизод со швейцарской девушкой, содержание которого остается неизвестным. «Постоянная борьба против того, чтобы выплеснуть это на бумагу. Если бы был уверен, что ее требование ничего не говорить об этом смогло воспрепятствовать моему порыву, я бы его неукоснительно выполнил и был бы доволен». И последние слова: «Слишком поздно! Сладость речами любви. Видя ее в лодке, хочется улыбаться. Это – прекраснейшая картина. Мне постоянно хочется умереть, и единственное, что удерживает меня в живых, – это только любовь».

В ноябре в Праге появилась посланница от Ф., подружка, которая впоследствии стала играть не вполне ясную роль в их отношениях.

Как раз в это время я со всей бестактностью стал рассказывать Францу о моих проектах «Воспитания общности» в сионистском духе. Этот эпизод лишь на короткий момент омрачил нашу дружбу. «Позавчера вечером с Максом. Он становится все более и более странным». И некоторое время спустя пишет: «Что у меня общего с евреями? У меня даже с собой ничего нет общего, мне бы забиться в угол и быть довольным тем, что могу дышать». Его дневник изобилует описанием снов, фантазиями, набросками рассказов, очерками. Все находится в состоянии сильного брожения. Среди всего этого мы находим важную ноту, которая обнажает корни его духовной рачительности и экономии, уводит его от снисходительного отношения к себе, рушит его брачные планы и уводит в царство литературы: «Ненавижу подробный самоанализ. Объяснения душевного состояния, такие, как: вчера я был таким-то; сегодня я такой-то, и причины этого. Это все неправда. Причин найти нельзя. Надо вести себя спокойно, избегать поспешности и жить так, как надо, а не гоняться, как собака, за своим собственным хвостом».

В следующем, 1914 г. у Франца наступил кризис в отношениях с Ф. Она больше не хотела иметь с ним никаких дел. 5 апреля он пишет в своем дневнике: «Если бы можно было уехать в Берлин, стать независимым, жить день за днем, даже голодая, но иметь возможность приложить все силы, вместо того чтобы хранить их или обращать в ничто! Если бы только Ф. хотела, она бы могла меня поддержать!» Он хотел стать в Берлине свободным журналистом. В конце мая или в начале июня – я точно не помню дату – в Берлине состоялась официальная помолвка. В Праге была снята квартира. В конце июля помолвка была расторгнута, и это тоже произошло в Берлине. «В отеле состоялся суд», – написал он

об этом. Это был отель «Асканишен Хоф» около станции Анхальтер. При решающем разговоре присутствовала не только Ф., но и ее подруга. Потом произошла сцена с ее родителями. «Мать втихомолку утирает слезы. Я рассказываю все. Отец понимает меня правильно, с любой точки зрения. Они приехали из Мальмё для моего спасения. Провели в дороге всю ночь. На отце – рубашка с короткими рукавами. Они считают, что я прав; нет ничего, что можно было бы высказать против меня. Дьявольское – всегда невиновно».

Я считаю, что не ошибусь, если скажу, что те драматические события, во время которых Кафка мучился терзаниями совести («Быть вынужденным терпеть эти страдания или быть причиной этих страданий», – стенал он в своем дневнике), послужили основой для двух новых больших произведений, написанных вскоре после расторжения помолвки.

В сентябре мы читали вслух первую главу из романа «Процесс» и в ноябре – «В исправительной колонии». Это было своего рода литературное самоистязание. Ничего не говорится о том, что совершил К., герой романа «Процесс». По обычным понятиям он невиновен. «Против него ничего сказать нельзя или, по крайней мере, можно выдвинуть немного обвинений». «Дьявольское – всегда невиновно». Так или иначе, он не следовал правилам обычной добропорядочной жизни. Он был вызван на мистический суд, и в итоге ему был вынесен приговор. «Накануне своего тридцать первого года рождения», – было написано в последней главе. Самому Кафке, когда он начал свой роман, было тридцать один. Девушка, которая иногда появляется в романе, – фрейлейн Бюрстнер. В рукописи Кафка пишет ее имя сокращенно – Фр. Б. или Ф. Б., что создает ясные ассоциации. В конце автор пишет: «Из тенистой узкой аллеи легкими шагами на площадь вышла фрейлейн Бюрстнер. Не было полной уверенности, что это была она, но сходство было очень велико. Была ли это действительно фрейлейн Бюрстнер или нет, значения для К. не имело. Самым главным было то, что он внезапно осознал бессмысленность сопротивления». И действительно, для Кафки не имело значения, была ли это фрейлейн Бюрстнер или девушка, похожая на нее. Неудачная попытка жениться оказала огромное влияние на жизнь Кафки, так как очень скоро стало ясно, что созданная им жизненная модель – и даже больше, чем модель, – как показал последний год его жизни, может быть разрушена личностью женщины с неординарным характером.

Кафка совершил поездку в датский городок Мариенлист, расположенный на побережье Балтийского моря, вместе с писателем, которого он очень уважал, Эрнстом Вейсом (давая

советы Кафке, он сыграл определенную роль в берлинских событиях). Там Кафка сделал набросок письма родителям, из которого становится ясно, что он иногда верил в возможность зарабатывать на жизнь литературным трудом. В этом письме, среди прочего, Франц писал:

«Я полагаю, что для всего дела, для вашего и моего блага лучше всего перестать жить так, как я жил до сих пор. Я, вероятно, не причинял вам серьезных огорчений, за исключением, может быть, расторжения моей помолвки, но с позиции сегодняшнего дня я смотрю на это иначе. Я мало приносил вам радости, но по одной-единственной причине – я не мог доставлять продолжительной радости и самому себе. Почему это так – ты, мой отец, поймешь прекрасно, несмотря на то что ты никак не можешь осознать, кто я есть на самом деле. Иногда ты рассказываешь о том, как тебе было трудно, когда ты начинал свой жизненный путь. Не думаешь ли ты, что это была хорошая тренировка для выработки самоуважения и получения удовлетворения? Не думаешь ли ты – хотя ты и говорил мне об этом уже много раз, – что мне все досталось очень легко? Поэтому я вырос в полной зависимости от вас и при полном внешнем благополучии. Не думаешь ли ты, что это было не совсем благоприятно для такой натуры, как моя, мягкой и любящей? Конечно, есть люди, которые знают, как обрести свою независимость где бы то ни было, но я не принадлежу к их числу. Ты также должен признать, что есть люди, которые всегда находятся в зависимости от кого-нибудь, но я также не отношусь и к этой категории, потому что собираюсь сделать попытку обрести свободу. Возражение, будто делать это уже слишком поздно, не сможет удержать текущую воду. Я гораздо моложе, чем это может показаться. Единственное, что есть положительного в этой зависимости, – это то, что она помогает сохранять молодость. Но это только в том случае, если эта зависимость идет к своему концу.

Находясь на службе, я никогда не добьюсь желаемого. И нигде в Праге тоже. Здесь все сковывает меня, здесь я нахожусь в зависимом положении. Но все в моих руках. Я находил службу очень обременительной и часто даже невыносимой, но, в сущности, простой. Этим простым путем я зарабатываю больше, чем мне нужно. Для чего? Для кого? Моя зарплата становится все выше. Для какой цели? Если эта работа мне не подходит и не дает мне в награду независимости, то почему я ее не оставлю? Я ничем не рискую, поскольку моя жизнь в Праге не ведет ни к чему хорошему. Иногда вы ради шутки говорите, что я похож на дядю

Р. Но если я останусь в Праге, мой образ жизни не будет сильно отличаться от его жизненного пути. Можно предположить, что у меня будет больше денег, больше интересов, но не будет уверенности, которой он обладает. Вдали от Праги я смогу что-нибудь заработать, стать независимым человеком и жить в мире с собой, используя свои способности, и в награду за хорошую добросовестную работу буду жить полной жизнью и испытывать удовлетворение. Это будет лучше для вас. Может быть, вы не одобряете действия своего сына, но в целом вы будете им довольны, поскольку вы должны будете сказать: «Он сделал все, что возможно». Сейчас вы этого не чувствуете, и в этом вы правы.

Осуществить мой план я думаю следующим образом: у меня есть 5000 крон. Это даст мне возможность прожить где-нибудь в Германии, в Берлине или в Мюнхене, в течение двух лет. Мне понадобятся эти деньги на тот период, когда я ничего не смогу заработать. За эти два года я смогу написать то, что по разным причинам не смог написать в Праге. Результаты этого литературного труда позволят мне через два года жить, хотя и очень скромно. Но такая скромная жизнь будет для меня несравненно лучше, чем та, которую я веду в Праге. Вы можете возразить, что я ошибаюсь в своих возможностях. Могу ответить, что мне тридцать один, и в таком возрасте я отвечаю за свои действия.

Могу также сказать, что я написал определенное количество произведений, хотя и не так много, как хотелось бы, часть из них уже признана, и на ваши возражения я могу ответить, что я не последний лентяй, запросы мои невелики, и в случае, если надежда на писательский труд не оправдается, смогу найти себе другой способ заработать на жизнь. Так или иначе, вам я не буду предъявлять никаких требований. В обратном случае моя жизнь в Праге станет окончательно непереносимой.

Поэтому моя позиция кажется мне достаточно ясной, и я очень хочу услышать, что вы об этом скажете. Я полагаю, что это – единственно правильный путь, и, если я не претворю этот план в жизнь, я потеряю нечто очень важное, поэтому еще раз говорю – для меня необычайно важно знать, что вы скажете по этому поводу.

С любовью.

Ваш *Франц».*

Но эти планы не осуществились. Разразилась мировая война. Начался период, когда все наши прежние страдания стали казаться нам прекрасными сказками.

Но, несмотря на это, Франц в ту пору работал одновременно

над тремя рукописями: над «Процессом», «В исправительной колонии», «Железной дорогой в России». В октябре он решил за неделю «сдвинуть с места роман». Он не уложился в этот срок, и ему пришлось перенести работу на следующую неделю. «Четырнадцать дней хорошей работы полностью прояснили мое положение». Пришло письмо от подруги Ф., которая была посредником между ними. Связь с Ф. была прервана на два месяца, хотя в тот период он мог переписываться с ее сестрой. В ответ на письмо подруги Ф., копия которого осталась у него, Франц пишет: «Не хотел бы упоминать о том, с чем совпало ваше письмо» – и добавляет: «Крах всех планов, письмо Максу с множеством просьб». И, несколько далее, он пишет: «Если перевернуть несколько страниц моего дневника, в них можно найти намек на организованность жизни».

Удивительно, как творческие способности Кафки не ослабли от всевозможных испытаний. Напротив, они были в то время на высоте. 13 декабря он заканчивает «Экзегезу легенды». Как он сам описывает в своем дневнике, у него было «удовлетворение и ощущение счастья». 19 декабря он отметил: «Вчера я писал «Сельского учителя», не сознавая сам, что делаю». Он ссылается на рассказ «Гигантский крот». На рождественские каникулы Кафка совершил вместе со мной и моей женой небольшую поездку в Куттенбург, осматривал там памятники архитектуры и немного отдохнул. Поездка длилась всего четыре дня. В городе уже чувствовались ужасы войны. В отеле в Колине Кафка читал нам вслух одну из незавершенных последних глав романа «Америка» с видимым энтузиазмом. (Эта поездка предшествовала поездке в Геллерау с Отто Пиком летом того же года.) В последний день 1914 г., вопреки своим обычным привычкам, он делает обзор своей работы над книгами: «Я работал с августа, в общем, немало и неплохо, но не в полную силу моих способностей, тогда как мои возможности, если судить по различным признакам, – бессоннице, головным болям, слабому сердцу, – продлятся не слишком долго. Написаны не полностью: «Процесс», «Воспоминания по дороге на Кальду», «Сельский учитель», «Помощник прокурора» и короткие наброски. Закончены лишь «В исправительной колонии» и одна глава из «Пропавшего без вести», обе работы – во время двухнедельного отпуска. Не знаю, зачем я пишу об этом, ведь это мне несвойственно».

Отношения с Ф. были далеки от завершения. В последние месяцы 1914 г. он мучительно пытается их возродить. Он послал Ф. несколько сот писем и встречался с ней в январе 1915 г. и в июле 1916 г. в Мариенбаде. С этим была связана активизация

творческой работы Кафки и его религиозное развитие. Он был в состоянии отчаяния. Он пишет в своем дневнике: «Следует ли мне жаловаться, вместо того чтобы найти какое-нибудь решение? Я не найду его здесь, в этой тетради, оно придет ко мне, когда я лягу в постель и повернусь на спину. Поэтому я лежу и ощущаю красоту, свет и ослепительную белизну. Никакого другого решения ко мне не приходит». «О, я думаю, что это невозможно, что мы станем иными, но не отваживаюсь сказать об этом ни ей, ни себе». Или: «Тяжело жить совместно. Такая жизнь основана на отчужденности, сострадании, трусости, тщеславии, и только глубоко внизу пробивается узкий ручеек, заслуживающий, чтобы его называли любовью, который невозможно найти, но который сверкнул перед нашим взором». Кафка составил сравнительный список, с помощью которого он хотел облегчить решение очень серьезной для него проблемы:

«20 августа 1916 г.

Оставаться целомудренным.	Жениться.
Холостяк.	Женатый человек.
Остаюсь целомудренным.	Целомудренным?
Я сохраняю все свои силы.	Теряются все устоявшиеся связи; становишься идиотом, следуешь каждому дуновению ветра, но никогда не вырываешься вперед. С волнением воображаешь человеческую жизнь, которая подходила бы тебе.
Отвечаю только за себя.	Наибольшая увлеченность собой (Грильпарцер, Флобер).
Нет беспокойств, возможность сосредоточиться на работе.	Чем я буду сильнее, тем буду тверже держаться. В этом есть некоторое зерно правды».

В то же время у Кафки есть немало утверждений, в которых он считает женитьбу на Ф. вполне возможной и желанной. Так, он писал мне из Мариенбада: «Но теперь я с надеждой вглядываюсь в женское лицо и ничего не могу с собой поделать. Множество

явлений вызывает слезы, которые я хотел бы сохранить навсегда (это не относится к отдельным деталям, но к целому), и эти слезы, я знаю, оборачиваются таким несчастьем, которого хватило бы больше чем на одну человеческую жизнь, но все это не берется нами из жизни, а наложено на нас свыше. У меня нет никакого права защищать себя от этого, потому что для того, чтобы снова смотреть с надеждой, я должен буду делать то, что случается само собой, своими собственными руками, иначе этого не произойдет». И «сейчас все по-другому и все правильно. Вкратце можно сказать: жениться сразу же после войны; снять две или три комнаты в пригороде Берлина. Каждый из нас будет решать свои экономические проблемы. Ф. будет работать так же, как и раньше, а я – про себя я еще ничего не могу сказать. Но если посмотреть на все разумно, то можно представить себе следующую картину: две комнаты, предположим, в Карлшорсте; в одной – Ф. Она встает рано, идет на службу, а вечером, вернувшись после работы, падает, полумертвая, в кровать; в другой комнате – софа, на которой лежу я и кормлю себя молоком и медом». «Он лежит там и расслабляется – мужчина, которого не тревожит никакая мораль», – можно было бы написать в продолжение. Но, несмотря на это, там – мирная жизнь, это определенно, и там – возможность продолжать жить». P. S. «Прочитав эти мужественные слова, с трудом понимаю, как можно навсегда удержать их слабым пером».

В некотором смысле Ф. оставалась и позднее, даже после окончательного расставания, идеалом для Франца. Так, он писал мне из санатория, после того как я сообщил ему о моих лекциях в Берлине: «Была ли Ф. на твоих лекциях? Мне кажется, что побывать в Берлине и не увидеть Ф. значило бы совершить ошибку, хотя это было бы точно так же непростительно и для меня, если бы я был там. Что касается Ф. – счастливой матери двоих детей, – я продолжаю ее любить, я ощущаю себя неудачливым военачальником, которому не удалось взять город, но, несмотря на это, неприступный город продолжает оставаться для него великим». Кроме того, он писал: «Я любил девушку, которая тоже меня любила, но я покинул ее…»

На протяжении пяти лет Кафка считал женитьбу на Ф. и препятствовавшие этому обстоятельства основным мотивом, затруднявшим творческую работу, мешавшим разрешать беспокоившие его религиозные вопросы. В тот период он много читал Огриндберга, а также Библию, Достоевского, Паскаля, Герцена и Кропоткина. О «Лондонских туманах» Герцена он написал следующее: «Не понял, о чем идет речь, и все же передо мной возник незнакомый человек, целеустремленный,

самоистязающий, берущий себя в руки и затем снова впадающий в отчаяние». Верфель читал ему вслух свои творения, например драму под названием «Эстер, императрица Персии». Кафка испытывал живой интерес к деятельности своих друзей, например к курсу лекций Феликса Вельтша. Он всегда подбадривал своих знакомых, хвалил их, критиковал, вдохновлял, но не позволял, чтобы кто-либо, кроме него самого, впадал в отчаяние. Он интересовался моей работой в школе для детей беженцев из Галиции, часто ходил на мои уроки, подружился с семьей одной из моих учениц. Между ним и старшей дочерью из этой семьи возникло понимание и установились добрые отношения. Он также присутствовал на дискуссиях между западными и восточными евреями. Он молчал и наблюдал за участниками. Я в ту пору проводил много времени с моим другом – мистиком Георгом Лангером в доме раввина-чудотворца, беженца из Галиции, жившего в темных, неуютных комнатах в пражском пригороде Жижкове. Необычные жизненные обстоятельства привели меня к своего рода религиозному фанатизму. Стоит заметить, что Франц, которого я взял с собой на празднование шаббата с хасидскими песнопениями, остался холоден к этому. Он, конечно, был тронут старинными обрядами, но по дороге домой сказал мне: «Собственно говоря, создается впечатление, что ты находишься среди дикого африканского племени. Смешное суеверие». В этом не было ничего оскорбительного, в этих словах было лишь трезвое отторжение. Я очень хорошо его понимал. У Франца были свои представления о мистицизме, и он не признавал сложившийся ритуал. Он часто бывал один. Он часто и подолгу бродил по Хотескским садам, которые он называл «красивейшим местом Праги». «Пели птицы, величественно возвышался замок с галереями, в полутьме трепетали листья на древних деревьях».

Он также предпринимал энергичные попытки вырваться из круга семьи, стать независимым. Некоторое время он не жил со своими родными, а снимал комнату. Вначале, в феврале 1915 г., он жил на Билекской, затем на Лангенской, где в апреле 1915 г. доставил мне неописуемое удовольствие и вызвал мое восхищение, читая пятую и шестую главы «Процесса». В феврале он написал «Изучение собаки». Кафка выносит очень строгое суждение об этом рассказе в своем дневнике: «Только что прочитал начало. Безобразно и вызывает головную боль. Несмотря на то что содержание правдиво, оно скверное, педантичное, механистичное. Я в слишком раннем возрасте пишу «Бувар и Пекюше»[25]. Если два элемента, наиболее ясно выраженные в «Кочегаре» и «В исправительной колонии», не

соединятся, мне конец. Но сможет ли произойти это соединение?» Под двумя элементами он, вероятнее всего, подразумевает реалистически-оптимистическую и строго идеалистическую тенденции, присущие его творчеству.

Франц, совершив путешествие в Вену, Будапешт и Надь-Михали со своей сестрой, чтобы повидать ее мужа, оказался недалеко от линии фронта. Затем Франц явился на призывной пункт, но был освобожден от военной службы как служащий правительственного учреждения. Позднее он попытался отменить освобождение и пойти в армию. Но болезнь помешала осуществлению его планов.

Премия Фонтане в октябре 1915 г. была временным утешением среди многочисленных печалей, и она была получена с некоторым удовлетворением. Если я не ошибаюсь, это произошло следующим образом: премию присудили вначале Стернгейму, но после ее решили вручить «молодому писателю» за рассказ «Кочегар», который был напечатан еще в 1913 г. Жалкое утешение. В дневнике можно найти бесконечные жалобы на бессонницу и головные боли, размышления о конце человечества, такие, как: «Проклятье висит над человеческим родом», «Меня мучат боль и сумасшествие», «Во взволнованном сердце тикают часы». Он упрекает себя за свое поведение по отношению к Ф. Себя он называет «конторским клерком, имеющим пороки слабости, нерешительности». И снова: «Душа клерка, инфантильность, воля сломлена отцом…» «Работай над собой, это в твоих руках. Это значит: не береги себя (за счет любимой тобой Ф.), поскольку невозможно сберечь себя; мнимое желание сохранить себя почти разрушило твою личность. Ты жалеешь себя не только в том, что касается Ф., брака, детей, ответственности, но и в делах, касающихся службы». И словно молящийся: «Имей ко мне милосердие, я грешен во всех проявлениях моего бытия. Но мой талант, мои возможности в целом не заслуживают того, чтобы считать их презренными и слабыми, я не растрачиваю свои силы впустую, и такая самонадеянная персона, как я, надеется совершить последнюю попытку, полагаясь на сложившиеся благоприятные обстоятельства. Не считай, что я совсем потерянный человек».

Несомненно, женитьбе Кафки мешали два фактора: экономический и метафизический. Нельзя не отметить, что финансовое положение Франца было в самом деле крайне неблагоприятным. Он не мог из-за гордости обратиться за помощью к родителям и не мог подвергать насилию свой писательский дар. Возможно, кто-то может представить себе такое социальное и политическое устройство, при котором

литературному гению не пришлось бы растрачивать талант, составляя юридические документы и думая о женитьбе и о связанной с ней ответственности перед женой и детьми, не видеть перед собой пугающую бездну. «Ты принадлежишь мне, – однажды написал он Ф. – Не могу поверить, чтобы какая-либо женщина вызывала более мучительную и отчаянную борьбу в ком-либо, чем ты вызываешь во мне». Конечно, Кафке было бы нелегко в этом отношении и при идеальном социальном порядке: яснее проступили бы метафизические, эротические корни его боли. Но в его душе нашлось бы соответствующее противоядие.

Зимой 1916/17 г. Франц жил на улице Алхимиков. Об этом месте возникли легенды, и иностранцы, приезжающие в Прагу, просят показать им маленький домик и комнату, в которой жил «автор». Дом состоит всего из одной комнаты, крошечной кухни и чердака. Но Франц выбрал это место жительства вовсе не из-за мистического или романтического преклонения, во всяком случае, это преклонение не было решающим фактором. Может быть, подсознательно на него влияла любовь к старой Праге. Главное для Франца было найти спокойное место для работы. Его необычайная чувствительность к звукам, которой он даже однажды заразил меня во время нашего совместного путешествия, затрудняла выбор. На улице Алхимиков Франц чувствовал себя сравнительно счастливым и был необычайно благодарен своей младшей сестре, которая открыла для него это убежище так же, как после она нашла для него приют в Цюрау. 11 февраля 1917 г., в воскресенье, я писал: «С Кафкой на улице Алхимиков. Он прекрасно читает вслух. Монашеская келья настоящего писателя». В письме Ф., копия которого сохранилась в посмертных бумагах Кафки, есть описание этого жилища, в котором был создан «Бешеный всадник» – вещь, наполненная печальным юмором, описывающая человеческие слабости, – и следующего жилища Франца, Шёнборнского особняка. В то же время в письме ощущается серьезность, с которой Франц готовился к свадьбе. Следующим летом была снята квартира для молодой пары и куплена мебель, Франц начал уже оповещать родственников и знакомых и даже поехал в Венгрию, в Арад, вместе с Ф., чтобы нанести визит ее сестре. Францу приходилось соблюдать условности, что было для него очень тяжело. В то же время он прилагал усилия, чтобы примириться с предъявляемыми к нему требованиями. Другой человек на его месте, скорее всего, освободился бы от этих условностей с легким сердцем и доброй улыбкой. Но вместе с тем я сомневаюсь, что Францу была нужна эта свобода, и не думаю, что он принял бы ее. Когда жених и невеста пригласили меня к себе 2 июля 1917 г., у них был весьма

комический вид: оба чересчур напряженные, особенно Франц, на котором была надета рубашка с непривычно тесным высоким воротничком. В этом было что-то картинное и в то же время нечто неприятно шокирующее. (Вскоре, 23 июля, в моем доме собрались гости, среди них, кроме Кафки, присутствовали Адольф Шрейбер, Верфель, Отто Гросс с супругой. Гросс изложил план издания газеты, который очень заинтересовал Кафку, – это было последнее, что я отметил в нем накануне катастрофы.) Письмо к Ф., в котором излагаются вопросы по поводу квартиры и свадьбы, я привожу ниже (в начале письма упоминается квартира в Длуге – остановка в Мюнхене дала Кафке возможность для чтения, и в это время Кафка перечитал не только свои работы, но также несколько поэм из моего сборника «Земля обетованная», и со своей обычной чуткостью настоял на том, чтобы передать часть своего авторского гонорара мне).

«Милая!

Пишу тебе о моей квартире. Ужасная тема. Я в ужасе оттого, что могу не справиться. Я хочу твоего совета. Так прочитай внимательно и дай мне совет: ты знаешь, как у меня было много печалей за последние два года: конечно, мало по сравнению с тем, сколько их сейчас в мире, но достаточно для меня. Удобная, приятная комната на углу, два окна, балкон. Вид на крыши домов и церкви. Терпимые соседи. Шумная улица, тяжелые грузовики, к которым я уже почти привык. Однако для меня в комнате жить невозможно. По правде говоря, она находится в конце длинного коридора и достаточно изолирована, но все равно сильная слышимость. Я слышал в одиннадцатом часу вечера вздохи моих соседей, разговор этажом ниже и стук тарелок из кухни. Кроме того, перекрытие, отделяющее чердак, очень тонко, и невозможно сосчитать, сколько раз, когда я сижу, склонившись за работой, служанка моет наверху пол или стучит каблуками. Вдобавок кто-то играет на пианино, и летом из соседних домов доносятся песни, звуки скрипки и граммофона. Тишина устанавливается не ранее одиннадцати вечера. Но даже после этого невозможно обрести мир и покой, и только возрастает чувство слабости и безнадежности. Я вспоминаю, как однажды мы с Оттлой нашли охотничий домик. Я уже не верил в возможность настоящего покоя, но в то же время искал его. Мы осматривали разные места Малой Страны, но ничего не могли найти. Шутки ради мы спросили, не сдается ли внаем маленький домик. Нам ответили, что в ноябре домик будет сдаваться. Оттла, которая искала спокойное убежище по своим соображениям, загорелась мыслью снять домик. Я стал ее отговаривать, убеждать, что домик мал,

грязен, запущен и неудобен. Но она настаивала, и, после того как оттуда выехала огромная семья, мы купили мебель из камыша (я не знаю ничего более комфортабельного, чем камышовые стулья), сняли домик и стали хранить его в секрете от нашей семьи. Я вернулся из Мюнхена, преисполненный свежей энергии, пошел в агентство недвижимости, где мне предложили квартиру в доме, похожем на роскошный дворец. Две комнаты и холл, половина которого использована под ванную. Шестьсот крон в год. По правде сказать, это было словно во сне. Я пришел посмотреть эту квартиру. Комнаты были прекрасными и с высокими потолками, в красных и золотых тонах, словно в Версале. Четыре окна выходят на тихий закрытый двор, одно окно обращено в сад. Сад! Входя в ворота этого замка, трудно поверить своим глазам. Через высокий полукруг второй двери, укрепленной кариатидами, стоящими на рельефных каменных опорах, можно увидеть прекрасную балюстраду. Но есть одно затруднение. Предыдущий съемщик, молодой человек, живший отдельно от жены, со слугой, всего несколько месяцев, неожиданно (он – гражданский служащий) покинул Прагу. Он сделал достаточно большие инвестиции в эту квартиру и хочет возместить затраты. Он ищет кого-нибудь, кто хотя бы частично возместил бы его издержки – проведение электрического света, обустройство ванной комнаты, установку буфета, проведение телефона и разостланный на полу большой ковер. Я – не тот человек, которого он ищет. Он хотел получить за это 650 крон – конечно, довольно умеренная плата за такие удобства. Но для меня это было слишком дорого, хотя эти просторные комнаты показались мне великолепными. В конце концов, у меня нет мебели и есть еще другие обстоятельства, которые следует принять во внимание. Теперь в этом же замке сдается другая квартира на втором этаже, потолки низковаты, вид на улицу, окна загорожены. Мебель более домашняя, простая, скромная! Графиня, жившая в этой квартире, имела, вероятно, более скромные требования. Она обустроила квартиру в духе старой девы, мебель состоит лишь из нескольких старых предметов. Но есть сомнение, что эту комнату можно будет снять. Это приводит меня в замешательство. В таком настроении я приехал в дом Оттлы, который был готов к тому времени. Вначале в нем было много недостатков. У меня нет возможности все описать. Сейчас мне отведен первый этаж. Могу отметить преимущества: прекрасная дорога; единственный, достаточно спокойный сосед, хотя меня от него отделяет всего лишь тонкая стенка. Проживание в своем собственном доме дает возможность закрываться от внешнего мира уже не в своей комнате и не в своей квартире, а в своем доме. Можно выйти из своего жилища

прямо на снег тихой аллеи. Все это за двадцать крон в месяц. Моя сестра снабдила меня всем необходимым, а ее маленькая ученица (девочка-цветочек) помогла ей в этом аккуратно и любовно. И в этот самый момент оказалось, что в конце концов квартира в замке перешла в мое распоряжение. Управляющий, к которому я однажды проявил расположение, очень по-доброму отнесся ко мне. Я получил квартиру с видом на улицу за 600 крон – честно говоря, без мебели. Там две комнаты и холл. Есть электрический свет, но нет ванной, в которой я, впрочем, и не нуждаюсь. Приведу вкратце преимущества моего теперешнего проживания в отдельном доме по сравнению с жизнью в квартире: 1. Преимущество в том, что можно оставить дела, как они идут. 2. Сейчас я доволен. В конце концов, зачем мне страдать? 3. Нет больших забот по дому. 4. Нет надобности специально совершать ночную прогулку, чтобы легче заснуть. 5. Я могу пользоваться мебелью сестры; в моей комнате, которая необыкновенно большая, у меня стоит только кровать. 6. Сейчас я живу в десяти минутах ходьбы от службы. В квартире окна смотрят, как я понимаю, на запад. Здесь в мою комнату проникает утреннее солнце. С другой стороны, преимущества квартиры: 1. Преимущество в возможности менять по своему усмотрению условия. 2. Возможность спокойно жить и быть предоставленным себе самому. 3. В квартире я, в конце концов, абсолютно независим. Я могу таким образом отделиться от Оттлы. Доброта и самопожертвование, которые она ко мне проявляет, кажутся мне излишними. 4. Хотя я не смогу совершать прогулки, мне будет сложно выходить из дома ночью, поскольку наружные ворота будут закрыты, но зато можно гулять в парке возле дома. 5. После войны я попытаюсь взять годовой отпуск, но сейчас это точно невозможно. В таком случае нам двоим нужно жить в таком замечательном месте в Праге, которое только можно вообразить, но сравнительно короткое время тебе придется обходиться без кухни и даже без ванной. Но в любом случае мне здесь очень нравится, и ты сможешь прекрасно отдохнуть в этом месте два или три месяца. Неописуемо красивый парк – возможно, весной, летом (в это время народ уедет) или осенью. И если я не въеду в эту квартиру немедленно, прямо сейчас (безумная экстравагантность, выходящая за пределы понимания цивильного служащего, – платить 150 крон в квартал), то вряд ли смогу получить ее позже. Сказать по правде, я уже снял ее, но маклер в любую минуту без труда может освободить меня от обязательств, потому что, как я правильно понимаю, эта квартира не имеет для него ни малейшей доли того значения, которое она имеет для меня. Как мало я тебе сказал! Но сообщи мне свое мнение как

можно скорее».

Кровохарканье, начавшееся в августе, Франц считал вызванным психическим расстройством. Я нашел в моем дневнике записи, которые, без сомнения, подтверждают это: «24 августа 1917. Признаки болезни Кафки. Он настаивает на том, что это нервное, появившееся для того, чтобы спасти его от женитьбы. Освободился ли он? Страдающая душа!» Может быть, проживание в квартире в неотапливаемом Шёнборнском дворце ускорило развитие болезни, и его отец, предостерегавший его от подобных «экстравагантностей» и всегда выражавший сильное неодобрение таким поступкам, был прав. На этот аспект его болезни, который Кафка сам никогда не принимал во внимание, прямо указывает один из коротких рассказов. Из него определенно следует, что существовала очень тесная связь между жизнью Кафки и его творчеством. Если смотреть глубже, болезнь была, в конце концов, результатом многолетнего стресса, усилий, направленных на то, чтобы дать возможность развернуться своему писательскому дару вопреки затруднениям, которые были вызваны нелюбимой работой и неудавшимися планами женитьбы. Слабость его здоровья сочеталась с «гигиеническим» лечением, которое не мог бы вынести даже более сильный организм.

Где-то до 4 сентября я смог, наконец, убедить Франца позвать доктора. В таких случаях он бывал невероятно упрям. Нужно было огромное терпение и настойчивость, чтобы на него воздействовать. Вот мое описание тех несчастных дней:

«4 сентября. После полудня зашел с Кафкой к профессору Фридлу Пику. Нужно основательное лечение».

«Выявлен катар легких. Надо отдохнуть месяца три. Риск туберкулеза. Господи! Плаванье в бассейне с Францем. Он чувствует одновременно и облегчение и подавленность. Одна часть его существа сопротивлялась женитьбе. Кафка считал, что брак отвлечет его от главного направления мыслей – пути к Абсолюту. Другая часть стремилась к заключению брака, следуя зову плоти. Эта внутренняя борьба измучила Франца. Он считал свою болезнь наказанием, потому что очень часто хотел получить безоговорочное решение проблем. Но это решение было бы ему не по силам. Он выступил против Бога, процитировав строчку из «Мейстерзингеров»: «Я считал его не более чем джентльменом».

Затем: «10 декабря. Снова пошел вместе с Кафкой к профессору Пику. Откровение Кафки по поводу того, что он изучал иврит, прошел сорок пять уроков под руководством Рата. Ранее он ничего не говорил об этом, но потом открылся мне, когда некоторое время назад спросил с невинным выражением

лица, как ведут счет на иврите. В этом было что-то великое, но в то же время таилось некое зло».

Франц противился, как только мог, чтобы не поехать в санаторий для туберкулезных больных. Можно найти некоторое противоречие в том, что теперь он отказывался поехать в какой-либо санаторий, когда ему это советовали, тогда как в предшествующие годы он ездил на отдых в такие санатории, как Эрленбах неподалеку от Цюриха, Юнгборн в горах Гарц, Гартунген в Риве. Но это были центры «естественного оздоровления», и Франц проводил там дни и даже недели, ведя «образ жизни, согласный природе», над которым он подшучивал, но любил и приветствовал. Угроза, которая исходила от традиционной медицины, была иного рода. И можно было только ожидать, что Франц при его взглядах на вещи будет как можно дольше сопротивляться подобным требованиям. Но в то время представился случай. Младшая сестра Франца взяла управление над маленьким поместьем в Цюрихе, принадлежавшим ее деверю (недалеко от Сааца). После согласования со всеми сторонами было решено, что Франц должен провести там оздоровительный отпуск. Отпуск продлевался несколько раз. Франц пытался возобновить работу в канцелярии, но это ему удавалось лишь на короткое время. В конце концов отставка стала неизбежной. В окрестностях Цюрау Франц впервые близко познакомился с сельской жизнью, сельским хозяйством, немецкими крестьянами, там создавался роман «Замок».

12 сентября я писал в своем дневнике: «Попрощался с Кафкой. Мне это было тяжело. Я уже много лет не расставался с ним на столь долгое время. Он сейчас полагает, что не может жениться на Ф. из-за болезни. Она прислала письмо, полное отчаяния, хотя ничего еще об этом не знает. Двое служащих вышли из магазина с ручными тележками взять его багаж. Он говорит: «Они идут за гробом».

Я получил от него очень много писем. Они слишком ценны, чтобы приводить их разрозненно. Я могу надеяться на то, что однажды смогу опубликовать их полностью. Они проливают свет на то, как Кафка все глубже и глубже изучал Кьёркегора, они раскрывают его религиозное и этическое развитие. В моей коллекции изданных писем Кафки уже появились другие письма из Цюрау – Бауму и Вельтшу. Они раскрывают образ человека, чувствовавшего себя как дома в сельской местности и не желавшего возвращаться в город. Хорошо передают его впечатления следующие строки из дневника: «Был у крестьянина Люфтнера. Большая длинная комната. Все совершенно театрально. Он произносит «хо-хо» и «ха-ха», хлопает по столу,

всплескивает руками, пожимает плечами, поднимает кружку с пивом, как выходец из Валленштейна. Рядом с ним сидит его жена, старая женщина, на которой он женился, будучи ее батраком, десять лет назад. Его страсть исчезла вместе с важной персоной, кем была для него жена, и ему стало наплевать на свое хозяйство. В конюшне – две огромные лошади гомеровских форм, освещенные редкими солнечными лучами, проникающими через окно». Францу понемногу становилось лучше. Только когда пришло письмо от Ф., он полдня ничего не ел и так и не открыл письмо. Я, к несчастью, ни разу не навестил Франца в Цюрау из-за того, что у меня было очень много работы. Я только повидал его на железнодорожной станции в Михелобе, куда он подъехал, чтобы встретиться со мной. Кроме того, он время от времени ездил в Прагу на день или на два приводить в порядок неотложные дела. Оскар Баум провел неделю у Кафки в гостях в Цюрау. «Деревня была покрыта глубоким снегом, – писал Баум в своих «Мемуарах». – Долгими ночами мы говорили до утра. Я узнал о нем больше, чем за десять предшествовавших и пять последующих лет».

В сентябре, вскоре после того, как Кафке поставили диагноз серьезного заболевания, его пришла навестить Ф. Дневник повествует: «Здесь была Ф. Она проехала 30 часов, чтобы повидать меня. Мне следовало бы помешать ей в этом. Я думаю, она очень страдала из-за меня. Я не могу себя контролировать; я совершенно бесчувственен, совсем беспомощен, думаю только о том, чтобы не нарушили мой покой, и единственно, что я делаю в целях компромисса, – это играю маленькую роль. В мелочах она не права, отстаивая свои мнимые и даже реальные требования, но в целом она безвинно приговорена к жестоким пыткам; я признал свою вину, именно из-за меня она мучилась. День окончился ее отъездом (экипаж, в который села она и О., проехал вокруг пруда, и в это время я бросил на нее короткий прощальный взгляд, который позволил побыть мне рядом с ней еще раз) и моей головной болью (издержки моей актерской игры)».

В начале ноября я записал мой разговор с Францем.

Он: Ошибка заключается в том, что мы обдумываем свои поступки.

Я: Что же, разве можно совершать поступки не обдумывая?

Он: Это, конечно, не закон. Но сказано: «Ты не можешь обдумывать дела свои. Обдумывать дела – совет змея. Но это – хорошо и гуманно. Без этого нельзя».

В конце декабря Франц приехал в Прагу, встретил там Ф., которая была управляющей крупной берлинской фирмы. Она обладала блестящими качествами: тактом, работоспособностью,

щедростью. Она использовала свой рождественский выходной для того, чтобы поговорить с ним в последний раз. Трагическая драма была близка к завершению. Вечером 25 декабря Франц и Ф. были в гостях у меня и моей жены. «Оба несчастны, не разговаривают». 26 декабря я писал: «Кафка пришел в половине восьмого утра, чтобы поговорить со мной. Кафе «Париж». Но он пришел ко мне не за советом, твердость его намерения вызывала восхищение. Вчера он сказал Ф., что все решено. Кафка процитировал из «Воскресения» Толстого: «Ты не можешь писать о спасении, ты можешь только жить им». После полудня – экскурсия вместе с Баумом и Вельтшем. Три супружеские пары, рядом Кафка и Ф. Кафка несчастен. Он сказал мне: «У меня появилась ясность относительно важнейших понятий. У западных евреев нет такой ясности, поэтому они не имеют права вступать в брак. Для них брак не существует. Если они не относятся к категории людей, которых это просто не интересует, – к бизнесменам, например».

Следующим утром Франц пришел ко мне на работу. Передохнув мгновение, он заговорил. Он только что вернулся со станции, проводив Ф. Его лицо было бледно и угрюмо. Внезапно он заплакал. Я впервые увидел, как он плачет. Я никогда не забуду эту сцену, это было самое ужасное, что я когда-либо испытал. В своей рабочей комнате я находился не один, рядом со мной стоял стол моего коллеги – мы работали вместе в отделении главпочтамта. Оно находилось не в главном административном здании, а на верхнем этаже многоквартирного дома. После въезда нашего отделения милая четырехкомнатная квартира с кухней и ванной превратилась в грязные, пыльные офисные помещения, в нечто раздражающее и портящее настроение, и в этом превращении было что-то жутковатое. Редких частных посетителей, которые приходили ко мне, я принимал с ощущением вины на кухне, которая наполовину была захламлена официальными документами. Но Кафка пришел прямо в комнату, в которой я работал, в разгар рабочего дня, сел около моего стола на маленький стул, который был предназначен для подателей ходатайств, пенсионеров и должников, и, сидя на этом стуле, стал рыдать. Он, содрогаясь, говорил: «Не ужасно ли, что так случилось?» По его щекам текли слезы. Я никогда не видел, за исключением этого случая, чтобы Кафка терял над собой контроль.

Через несколько дней он вернулся в Цюрау. Кафка показал мне другое письмо от Ф., из которого было видно, что она очень несчастна. Однако его отношение к ней было твердым, он отступился не только от нее, но и от всякой возможности вступить в брак. Боль, которую он испытывал, придавала ему

силу победить свою природную слабость и не возвращаться к своим прежним терзаниям и сомнениям.

Примерно через пятнадцать месяцев (год и три месяца) Ф. вышла замуж. Я осторожно сообщил эту новость Францу. Он был растроган, полон добрых пожеланий к молодоженам и преисполнен радости. «Хорошо, когда дела, кажущиеся неразрешимыми, в конце концов разрешаются». Этой фразой я могу завершить рассказ о помолвке Франца, прекрасно осознавая в то же время, что Франц был далек от того, чтобы открыть для себя путь к спасению с помощью решения одной только этой печальной проблемы.

Глава 6
Религиозное развитие

Причиной неудачи, которую потерпел Кафка в поисках выхода из создавшегося положения, была его болезнь, которая, возникнув как его душевный кризис или, по крайней мере, пагубно взращенная им, превратилась в зло, получившее независимое, вредоносное и даже опустошающее значение, и это зло в конце концов одолело Франца. Он героически переносил страдания, даже с веселым хладнокровием. Только однажды, в последние его годы, я слышал от него жалобы на боль. Я пришел повидать его после тяжелой лихорадки. Он лежал в кровати. Сморщившись от боли, он тихо произнес: «У меня было такое ощущение, будто у меня что-то лопнуло, сжалось и излилось через узкое отверстие». Сказав это, он сжал свою руку, словно смял носовой платок.

Вплоть до лета 1918 г. Франц проживал, лишь с небольшими перерывами, в Цюрау. Затем он приехал в Прагу, некоторое время снова работал на государственной службе, во второй половине дня занимался садом в Институте помологии[26] в Трое, пригороде Праги. Я часто приезжал к нему в институт, и мы подолгу с ним гуляли. У него были две основные темы: война и изучение иврита. Нередко я просил у него совета по вопросам литературы. Кафке были свойственны чувство справедливости, любовь к правде и непринужденная честность. «Ограничивать себя – это настоящее искусство» – одно из высказываний Кафки, которое я запомнил до настоящих дней. Иногда, могу допустить, это приводило его к страданиям. Он желал отстраниться от всего, даже от встреч со мной.

В июле 1918 г. я записал: «Деревня противостоит городу. Он лучше чувствует себя в Праге, потому что в Цюрау ему приходится бездействовать. Здесь он изучает иврит и занимается садом. Это для него полезно. Хочет от всего отстраниться».

«3 июля. Бессонная ночь из-за Кафки. Чувствую себя несогласным, но уважаю его решение. Его черта – видеть положительное во всем, даже в противниках, например в Гансе Блюхере, – часто утешает меня и придает мне опору. Его уверенность, которая в то же время была чистыми намерениями, частью его работы, всегда имела под собой почву, ничто доброе никогда не было упущено – и это оказывало мне поддержку. Однако этот печальный список требует немедленного исправления. «Через несколько дней он пришел ко мне. И потом –

мы снова вместе на Софийском острове, в плавательном бассейне. И в Трое тоже».

Отрывок из следующего письма показывает, с какой строгостью в тот период относился Кафка к себе самому и ко всему окружающему. Я передал ему просьбу одной актрисы, желавшей устроить чтение его книг во Франкфурте. Он ответил мне из Цюрау: «Я ничего не послал во Франкфурт, не нашел ничего подходящего. Если бы что-либо послал, это также не было бы вызвано тщеславием. То, что я пишу, для меня – ничто, мне интересен только момент, когда я пишу. А теперь актриса, которая могла бы найти что-либо лучшее, хочет извлечь из пучины то, что рано или поздно туда погрузится, прославить на один вечер? Бессмысленное беспокойство».

Но он не всегда относился столь презрительно к своей литературной работе. Он стал собирать свои рассказы в том под общим названием «Сельский врач». В то время он даже настаивал, чтобы этот сборник был опубликован. Об этом свидетельствуют строки, написанные мне из Цюрау: «Спасибо за разговор с Вольфом обо мне. С тех пор как я решил посвятить книгу моему отцу, я хочу, чтобы она вышла как можно скорее. Я не смогу таким образом заставить отца примириться, корни его вражды очень глубоки, но мне хотелось хотя бы поводить пальцем по карте, если мне не удалось уехать в Палестину».

Из этих строк видно, насколько сильно Кафка стремился к тому, чтобы быть полноправным членом своей семьи, жить в мире с отцом, жить так, как живут все люди, в согласии с природой и моральными принципами. И эти устремления (которые были не чем иным, как наиболее полным выражением основной проблемы для Кафки – в чем должна состоять жизнь каждого человека и всего человечества) преисполнили его с новой силой в последние годы жизни.

Я еще раз подчеркиваю, что Кафке была присуща любовь к жизни, он был земным, и его религией была полнокровная жизнь, а не самоотречение и отстраненность от жизни, отчаяние, трагизм.

Три цитаты, которые я поместил в качестве эпиграфа к настоящей монографии, написаны чистым языком. Я прошу читателя снова обратиться к ним. Без них трудно понять религиозную концепцию. В этих строках можно видеть признаки «теологии кризиса» – религиозной тенденции, согласно которой между Богом и человеком, между человеком и благими делами, достигаемыми с помощью человеческой силы, находится зияющая бездна, через которую никогда нельзя перейти. Примечательно, что Франц в письме ко мне обращает внимание на отрывок из

Кьёркегора, в котором говорится не о беспомощности, а о духовной силе и творческой возможности человеческого рода. Кафка цитировал Кьёркегора со следующими вступительными словами: «Этот отрывок взят не из Талмуда, но он соответствует еврейскому образу мысли». Далее он приводит этот отрывок:

«Когда появился человек, в нем было много первобытного, поэтому он не мог сказать: «Мир должен быть таким, каким я хочу его видеть», но должен был сказать: «Пусть мир будет таким, каким он есть, а я, со своей первобытностью, не буду стараться подделываться под него», – и в тот момент, когда эти слова были услышаны, вся природа преобразилась. Поистине – сказочная история, в которой провозглашается правильный мир, и замок, спрятанный в подземелье сотни лет, восстает на поверхности, и все оживает. Ангелы занимаются своим делом и с любопытством смотрят, что из этого выйдет. С другой стороны, темные, злобные демоны, которые долгое время бездействуют и только точат свои когти, встряхиваются и тянут корявые крылья, потому что, говорят они, будет что-то и для нас, и очень скоро».

В то время, как я придаю особую ценность той стороне работ Кафки, которые преисполнены оптимизма и радостной активности (то есть фундаментального признания того факта, что человек, с его искрой разума, должен обрести то, что он потерял, и только с помощью милости Божьей – старая проблема Иова), в то время, как я подчеркиваю его позицию как сторонника человеческой свободы, я должен, конечно, не забывать о том, что другая позиция Кафки – только случайная вспышка, и тот отрывок, который описывал человеческую немощь, обрушился на голову читателя подавляющей массой. Но проблески свободы и надежды там *тоже есть!* И только один такой проблеск может кардинально изменять целую картину в религиозном сознании. Вот все, что я хотел сказать, не больше. Если кто-то желает прочитать Кафку должным образом, возможность более оптимистической интерпретации его работ не должна отвергаться. На самом деле я думаю, что эти благородные тенденции, выжатые из бесконечно плохих настроений и падений в ужасающе трудной жизни, тенденции к «борьбе за хорошее против всех и вся», формируют наиболее значимые, лучшие черты Кафки как мыслителя. *И только благодаря стремлению к вере удалось выбраться из столь радикального скептицизма, эта вера полна правдивости, очищена тяжелыми испытаниями, обладает бесконечной ценностью и преисполнена мощи.*

«Человек не может жить без постоянной веры в то, что в нем что-то неразрушимо, – говорит Кафка и добавляет: – В то же время эта неразрушимая часть и вера в нее может постоянно

ускользать от него». Очень примечательно следующее высказывание Кафки: «Одной из форм проявления этого скрытого является вера в личного Бога». Можно сказать, что скептицизм и вера не могут лучше сочетаться, чем в этом афоризме.

Кафка размышляет о первородном грехе и потере рая. Он пытается, но не может найти определяющие связи. Он расценивает веру как «гильотину, тяжелую и вместе с тем легкую». Но в любом случае одно оставалось для него непреложным: насколько независимо мы можем судить об отношении к нам Бога. Отношение и задача человечества по отношению к нам ясны: это активное служение добру в том понимании, которое нам доступно. «Смерть перед нами, как картина битвы Александра, висящая на стене в классной комнате. Сделать эту картину бледной или даже стереть ее можно нашими делами, пока еще находимся в этой жизни».

Эти строки можно сравнить с записями в дневнике от 11/11/1911 г. Эта запись, на мой взгляд, очень волнующа: «Когда я замечаю, что допускаю зло, которое должен бы устранить, например кажущуюся благополучной, но, на мой взгляд, безнадежную жизнь г-жи Н., я на какой-то момент перестаю чувствовать мускулы моих рук». Есть похожий отрывок за май 1914 г., который раскрывает, однако, неограниченность и целостность природы всех тленных вещей, но эти мысли на самом деле уводят борьбу за добро в бесконечно ложном направлении (можно сказать, каждый великий писатель способен ярко осветить некоторые аспекты жизни, но никто не видит столь ясно того, что находится прямо перед ним. А что открыл для нас Кафка? Грязь жизни!). «Если я не ошибаюсь, я приближаюсь к истине. Можно подумать, что в некотором лесу происходит духовная битва за свет и свободу. Я проникаю в лес, ничего не нахожу и, ощущая слабость, спешу обратно. Часто, покидая лес, я слышу или полагаю, будто слышу, звон оружия этих воинов. Может быть, через тьму леса меня высматривают эти воины, но я так мало знаю о них, и знания мои неопределенны.

Смущение в умах людей велико. И все же, и все же – нам дана колесница, Божья колесница, и мы видим, как эта колесница праведной жизни минует нас. Если человек не относится серьезно к жизни, он может упустить ее. «Скорей, не упусти!» – говорит нам внутренний голос, который, я думаю, должен быть решающим, «…и тогда ты тоже увидишь неподвижную темную даль, в которой не проглядывается ничего, только в один день появится колесница, она будет катиться прямо на нас, становиться все больше и больше, и вскоре заполнит все пространство перед тобой – и ты прыгаешь в нее, как ребенок

запрыгивает в темный зашторенный экипаж, путешествующий в бурную ночь».

Основную концепцию Кафки можно выразить примерно так: почти ничто не известно точно, но, если у кого-либо есть хотя бы некоторая степень понимания, он никогда не собьется с пути. В учении Платона это выражено в более простой форме. Согласно Платону, как уверяет нас «Федр», тот, кто однажды вступил на высшую ступень, не упадет на низшую.

Скорбя о несовершенстве и неясности человеческих действий, Кафка был убежден, что правда никогда не будет побеждена. Он не выражал это словами, но проявлял это своими делами всю свою жизнь. «Неразрушимый» дает это почувствовать. Кафка ненавязчиво, но твердо следовал вечным законам любви, разума и доброты. Можно допустить, что он был безгранично скептичным и ироничным. Но у него, например, не было скептицизма относительно Гёте. Нет, у него был предел, очень отдаленный предел, но он был.

Есть вера в абсолютный мир, но мы можем заблудиться, мы слишком слабы, мы не можем его постичь. Кафку мучает сознание человеческого несовершенства. Шопс объясняет чувство слабости сегодняшней ситуацией среди евреев, которые не следуют традиционным законам своей религии. Есть объяснение со стороны католиков – евреи не принимают Христа. Но, говоря о причинах его ощущения слабости, мы не должны забывать о многочисленных личных слабостях и страданиях Кафки, берущих начало от его впечатлений молодости и «неправильного воспитания». Правду и реальную жизнь Кафка трактует через теологическую интерпретацию. «Быть недалеко от Бога» и «правильно жить» было для него равнозначным. Как представитель расы, человек не может правильно жить без своей страны. Это – почти реалистическая еврейская интерпретация Кафки, в которой сионизм принят как основной религиозный принцип.

Абсолютное существует, но оно несоизмеримо с человеческой жизнью – это утверждение составляет основу опыта Кафки. Из глубины этого опыта возникают новые изменения; в горчайшей иронии, отчаянии, самоунижении, сквозь дикий скептицизм не часто, но определенно, то здесь, то там пробивается надежда. Основной темой остается огромный риск того, что мы можем сбиться с правильного пути. «Если ты однажды последовал ложному ночному звону, ты никогда уже этого не исправишь».

Вечное непонимание между Богом и человеком побуждало Кафку снова и снова указывать на диспропорцию в существовании

двух миров, которые никогда не сойдутся. Поэтому безграничное различие между бессловесными животными и людьми служит темой для его многочисленных рассказов о животных. То же самое – в изображении разобщенности отца и сына. Взгляд писателя останавливается на бесконечном сожалении по поводу всего, что выражает несоразмерность, что ведет к величайшему фатальному непониманию, краху человека перед лицом Бога.

Такое восприятие, без сомнения, является основой чувства, что в мире Абсолютного, Свободы от греха и Совершенства и существует то, что называется Богом. Это чувство «Неразрушимого» было для Кафки несомненным; и в то же время, несмотря на его острое душевное зрение, он не мог всецело охватить ни одного из бессчетного количества несчастных отступников от веры, ни один из грехов, ни одну из абсурдностей, с которой каждый человек отравляет жизнь другому, делает ее непереносимой и уводит всех дальше и дальше – прочь от источника жизни. Для нас предписана достойная жизнь, но мы не способны из-за наших заблуждений ее постичь, поэтому Божий мир находится на трансцендентной территории. Для нашего слуха желания Бога кажутся нелогичными, то есть противоположными нашей человеческой логике. Со времен Книги Иова не было такого богоборчества, как в «Процессе», «Замке» или «В исправительной колонии» Кафки. Юстиция представлена машиной, с изощренной жестокостью раздавливающей человека, почти дьявольским, бесчеловечным орудием. В Книге Иова Бог кажется также бессмысленно несправедливым к человеку. Но он кажется таким *только* человеку. Вывод состоит в том, что измерения, которыми пользуется человек, не идут из мира Абсолютного. Это агностицизм? Нет. Основным чувством остается то, что каким-то таинственным образом человек никогда не может быть связан с трансцендентным царством Божиим. Существует только обыденная, рациональная связь. И ужасная незаживающая рана сомнения, которую Кафка всегда остро ощущал, отражал в своих произведениях, создавал в своей причудливой фантазии, рана, нанесенная нашими моральными принципами, не могла быть вылечена пустыми фразами, ханжескими закатываниями глаз, наложениями заплат на злостные явления. Она не могла быть вылечена с помощью элементарных беллетристических приемов, ей могло помочь только огромное, непомерное чувство добра, которое отважилось бросить вызов всем этим злостным явлениям. Кафка регистрировал все негативные, страшные и ущербные стороны нашего существования без всяческого приукрашивания, и в то же время он смотрел на них из глубины своего сердца, из

«Идеального мира» Платона – это была отличительная черта жизни и творчества Кафки, это была его позиция, которую он демонстрировал своим друзьям без единого сказанного слова, и некое откровение, мир и определенность в пучине страданий и неизвестности.

Возможно, были люди, которые верили глубже, сомневались меньше, чем Кафка, так же как были более скептичные люди, – не могу ничего утверждать. Но что я знаю, так это то, что в Кафке были две противоположные тенденции, составляющие синтез высшего порядка. Это можно сформулировать следующим образом: среди верующих он был самым свободным от иллюзий, а среди тех, кто видел мир таким, как он есть, без иллюзий, он был самым непоколебимым верующим.

Это все тот же старый вопрос Иова. Но Кафка твердо стоит на стороне человека. Подобно тому как это происходило в его рассказе «Перед судом». Стражник обманывает человека, требующего, чтобы его впустили, или прикидывается простачком. К., главный герой повествования, возражая против аргумента, говорит: «Это относится к глубинному универсальному принципу». Правда, это не последнее его слово. Священник спорит с ним, выражая свой протест не только словом, но и делом. Так решение высшего суда (в романе «Процесс»), возможность лучшей жизни в согласии с божественным промыслом, фактически «суд», на деле не отрицается – но эта возможность неопределенна. Все остается висеть в воздухе. Свет и тьма борются друг с другом. К какому времени относится эта «безвременная» новелла? Время – одна минута до сотворения мира. Будет ли оно успешным или нет? Ужасный страх сомнения и неопределенности наполняет сердце.

В чем состоит причина? Почему человек не может достичь истинного, правдивого – того, от чего он в поисках лучшего отклоняется на своем пути, как тот сельский врач, который следует «ложному зову ночного колокола»? Кафка по своей натуре был не склонен давать обещаний или предписаний для счастливой жизни. Он преклонялся перед каждым, кто мог, сам же воздерживался. При этом воздержании он ощущал в себе Абсолютное как нечто невыразимое. Но в этой неуверенности чувствуется отдаленная уверенность. Но в этой его неопределенности чувствуется отдаленная определенность, и она становится возможной и ощутимой. Я говорил уже, что эта позитивная черта, возможно, менее выражена в его работах – и именно поэтому многие читатели находят в них подавленность и депрессию, – но тогда позитивизм должен чувствоваться в его личном спокойствии и безмятежности, в его интеллигентном,

серьезном, всегда неспешном образе жизни. И тот, кто внимательно читает работы Кафки, должен снова и снова увидеть сквозь грязную шелуху мимолетный отблеск чистого ядрышка или даже нежный росток. В кульминационные моменты крайней лжи и сопряженного с ней отчаяния – легкость и мимолетность деталей, «лихорадка копирования», любящая подробности, то есть реальную жизнь и ее натуралистические описания, юмор, пронизывающий лаконичные предложения, зачастую за счет эффекта «замкнутого круга», множество других стилистических трюков, – например, должники «проявили экстравагантность и устраивают званый вечер в саду гостиницы, другие ненадолго летят в Америку погулять на вечеринке», – все эти вещи, посредством *только одной формы,* ведут к «Неразрушимому» Кафки и к познаваемому им всеобщему человеческому бытию.

Когда Кафка читал вслух, этот юмор становился особенно заметным. Так, мы, его приятели, безудержно смеялись, когда впервые услышали, как он читал нам первую главу «Процесса». Сам он также смеялся так много, что были моменты, когда он не мог продолжать чтение. Это просто изумительно, когда думаешь о серьезности этой главы. Но это было так.

Конечно, это был не вполне хороший, утешительный смех, но в нем было и что-то от простого, веселого смеха. Я только указываю на то, о чем, как правило, забывают при изучении Кафки, – о характерной для него радости по отношению к окружающему миру и к жизни.

За что он укорял себя – так это за то, что его вера в жизнь время от времени колебалась, что сама жизнь в нем была не так сильна. Он восхищался сельской жизнью, и это восхищение было выражено еще в его ранних юношеских (неопубликованных) письмах к Оскару Поллаку. «Замечал ли ты когда-нибудь, как трава тянется навстречу корове, когда та пасется на лугу, видел ли, насколько они близки друг другу? Замечал ли ты когда-нибудь, как тяжела, богата пахотная земля, растертая кончиками твоих пальцев?» Еще более отчетливо эта тема звучала в дневнике, который он хранил в Цюрау. Там, помимо всего прочего, было сказано: «Общее впечатление от фермера: благородный человек, который нашел свое спасение в сельском труде и организовал свою работу так умно и просто, что она безоговорочно подходит ко всему остальному. Эта работа будет хранить его и беречь от всех потрясений до самого конца счастливой старости». Но его восхищение распространялось не только на сельскую жизнь. В этом же духе, 10/20/1913 г., он написал в своем дневнике об абсолютно городском авторе, уверенном в выборе своего пути: «Только что прочитал о

Якобсоне. Жизненная сила, твердость в принятии решений, умение весело идти по избранному пути. Он сидит в самом себе, словно первоклассный гребец в собственной лодке, и в случае необходимости справится и с любым другим судном».

Из вышеприведенного отрывка становится понятной шкала ценностей, которой руководствовался Кафка. Он любил в людях действенную жизнеспособность, но только ту, которая служила добру и созиданию. (Двойные требования так трудно удовлетворить!) Он всегда обвинял себя в том, что никогда не мог «научиться чему-нибудь полезному». Он жаловался в своем дневнике, 10/25/1921 г., что «поток жизни никогда не подхватывает меня, и поэтому я никогда не вырвусь из Праги, никогда не займусь каким-нибудь делом или торговлей». Он часто упрекал себя за свою холодность, неприспособленность к жизни, вялость, и эти упреки часто звучали в его письмах, их также можно найти в последней главе «Процесса». Два черных мистических судебных пристава исполняют приговор, который уже был исполнен. Когда они уводят К., они образуют вместе с ним «единое целое, которое могут образовать лишь безжизненные формы». Он уже мертв, иначе говоря – мертв для реальной жизни. В этом состоит основная причина того, почему появление фрейлейн Бюрстнер произвело на него столь парализующий эффект. Он хотел ее видеть, и не потому, что ожидал от нее помощи, но «для того, чтобы не забыть о ее предостережениях». К. не был женат, оставался холостяком, реальность жизни действовала на него ужасающим образом, он не мог себя от этого защитить, и в этом была его тайная вина, которая еще задолго до вынесения приговора выбила его из жизни. «Если бы он начал сопротивляться – в этом не было бы ничего героического», – было сказано в финальном заключении. «Если бы он стал препятствовать джентльменам (судебным приставам), то лишил бы себя радости последнего проявления жизни». К. умер от жизненной слабости, он был уже мертв в начале книги – с момента ареста, который Кафка описал в состоянии некоего транса, в момент провидения, иначе откуда могли взяться тогда, в 1914 г., ладно прилегающие черные мундиры с пряжками, карманами, пуговицами и ремнями? Предположительно слабость – это относительная идея, и если перевести роман на язык автобиографии, из которой он и возник, не следует забывать, что жизнь Кафки рассматривалась лишь с точки зрения его позорной слабости, измеряемой параметрами героической морали и непомерными требованиями, которые он предъявлял себе. Но что не должно быть слабостью в данном случае? Ощущение это возникло в потрясающей сцене в конце романа «Процесс», где

«ответственность за эту последнюю оплошность» отбрасывается напрочь, где К. встает на дыбы, тянется к совершенно незнакомому, неопределенному человеку. «Кто это? Друг? Хороший человек? Доброжелатель? Человек, который хочет помочь? Это – конкретный человек? Или воплощение человека? Возможно ли вообще мне помочь? Где слова в мою защиту, которые кто-то забыл произнести? Определенно, они где-то есть. Логика, конечно, непоколебима, но она не устоит перед человеком, который хочет жить. Где судья, которого он никогда не видел? Где высший суд, перед которым он никогда не представал?»

Старая проблема Иова.

Фундаментальный принцип Кафки: сострадание к человечеству, которое задачу «делать все правильно» считает очень трудной. Сострадание наполовину сквозь смех, наполовину сквозь слезы. Не гневное обличение «теологов кризиса», которые точно знают, в чем именно ошибается человечество.

Требования Кафки к самому себе очень строги. Он никогда не верил, что приблизится к их выполнению. С другой стороны, он не был «художественным критиком» в общепринятом смысле слова. Множество явлений проходило у него перед глазами, множество простых людей, с которыми он входил в контакт. Они казались ему самодостаточными, заслуживающими восхищения, успешными и сильными, они были отмечены Божеской милостью. Частично Кафка был прав в таком своем отношении, потому что никто другой так остро не осознавал свою «отдаленность от Бога». Однако в этом осознании «отдаленности» Кафка, со своей покорностью, не видел добродетели, а только неопределенность, иначе говоря – слабость. Но так как это было первостепенным условием всей его жизни – ощущать расстояние, которое отделяет его от Бога, от правильного жизненного пути (и это было ясно без всяких завуалированных ритуалов и мистицизма), – его восхищение простым человеком – «пешеходом», как назвал его Кьёркегор, – часто оборачивалось необычайно мягкой, непредвзятой, игривой и в то же время острой иронией. Он со снисхождением относился к мнимым победителям жизни, просто по доброте своей души: «Они знают о бездне не меньше меня – и все же они весело балансируют над ней». Но знают ли они всю правду? Эта шутливая гипотеза, облегчившая личную трагедию жизни Кафки, лежала в основе его уникального юмора.

Поэтому отношение Кафки похоже на отношение Иова, но во многом отлично от него. Однако я не могу, подобно Шопсу и Маргарет Зусман, провести параллель между различиями их взглядов и различиями в состоянии развития еврейской нации в

то время и сейчас.

В первую очередь следует отметить, что Иов с самого начала предстал перед другими людьми как законченная цельная личность и в то же время он был таковым перед самим собой. Кафка же – с оговорками, которые я сделал выше, – считал себя в чем-то несовершенным, а это требует другого подхода к проблеме.

В вопросе обвинения, выдвинутого против Бога, они действительно едины. Это опыт несоразмерности, общий для двоих. Мир Божеской справедливости и мир человеческой этики стоят далеко друг от друга, создавая пространство для «Страха и трепета» Кьёркегора. Или, как однажды Кафка выразился в своем дневнике: «Нереально и совершенно невозможно по здоровью для туберкулезного человека иметь детей. Отец Флобера был туберкулезником. Выбор: или легкие ребенка издают хрипы – очень приятная музыка для докторского уха, прислоненного к груди пациента, – или он становится Флобером. Переживания отца во время консультации у врача происходят на пустом месте». Какая ужасная безнадежность звучит в этих словах – «на пустом месте». Они напоминают один демонический гимн, которого Кафка в действительности не знал. В то же время Иов говорит прямо, без обиняков; когда он борется против Бога, то никакие выражения не имеют такой силы, чтобы Его оскорбить.

Книга Иова, 9: 11-19.

> Вот, он пройдет предо мною, и не увижу Его; пронесется, и не замечу Его.
> Возьмет, и кто возбранит Ему? Кто скажет Ему: «Что ты делаешь?»
> Бог не отвратит гнева Своего; пред Ним падут поборники гордыни.
> Тем более могу ли я отвечать Ему и приискивать себе слова пред Ним?
> Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять Судию моего.
> Если бы я воззвал и Он ответил мне – я не поверил бы, что голос мой услышал Тот,
> Кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны,
> Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями.
> Если действовать силою, то Он могуществен; если судом, кто сведет меня с Ним?

Это тот самый суд, которому К. в «Процессе» не может

противостоять; или джентльмены из «Замка», которые не дают никому говорить и прикрываются от суда просьбой, которая не влечет за собой никакой ответственности и приносит очень мало пользы.

Книга Иова:

> Если этого поражает Он бичом вдруг, то пытке невинных посмеивается.
> Земля отдана в руки нечестивых; лица судей ее Он закрывает. Если не Он, то кто же?
> Хотя бы я омылся и снежною водою и совершенно очистил руки мои,
> То и тогда Ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои.
> Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд!
> Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас.
> Да отстранит Он от меня жезл Свой, и страх Его да не ужасает меня;
> И тогда я буду говорить, я не убоюсь Его; ибо я не таков сам в себе.

Решение в Книге Иова приходит позже, когда Господь отвечает из бури: «Где был ты, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь». Но, несмотря на это, гетерономия между Богом и человеком еще более усилилась. Таким образом, божеское право и человеческое должны быть дифференцированы. Книга Иова заканчивается гимноподобным описанием двух чудовищ, двух монстров – Бегемота и Левиафана, чья красота, непосредственно исходящая из человеческого, восхваляется. «Оставляет за собой светящуюся стезю; бездна кажется сединою; он царь над всеми сынами гордости». Поистине прекрасно. Но парадокс, состоящий в том, что Божеский указующий жезл не годится для человека, остается неразрешенным. По человеческим меркам Бог кажется несправедливым – и рана остается. Иов в действительности находит свой путь к запредельной сфере Добра и Зла.

Не так у Кафки. Его обвинение зашло на один шаг дальше, чем обвинение Иова, хотя можно подумать, что это вряд ли возможно. Вот в чем состоял этот шаг: Бегемот и Левиафан не имеют никаких этических понятий, которые может постичь человек, но они восхваляются именно в эстетическом смысле, как создания Божий, привлекающие взгляды своею силой. У Кафки

Суд, кроме всего прочего – грязный, смехотворный, презренный, коррумпированный; он заседает в комнатах предместья, работает в тупой бюрократической манере, на него смотрят как на нечто эстетически малоценное. Намерения двух авторов конечно же одинаковы. Гетерономия Бога должна быть описана как нечто неизмеримое человеческими стандартами. Поэтому сделать это крайне трудно: какими средствами изобразить бесконечное добро и непостижимый для человеческого сознания сильный и яркий свет? Кафка поясняет, каким должен быть совершенный мир, показывая его негативные стороны. По Иову Божеский мир – вместе с его чудовищами – в корне противостоит миру человеческому по меньшей мере своим величественным масштабом. Для Кафки убогость, грубость и грязь – лишь символы для того, чтобы показать свою непохожесть на других, свое противостояние реальному миру. Совершенный мир, похоже, вызывает отвращение у людей, по крайней мере у тех, которые вершат неправый суд. Эта мысль возникает с постоянной настойчивостью, но совершенный мир остается, несмотря на безобразную картину, абсолютно чистым, потому что в отношении как Кафки, так и Иова неискренность совершенно исключена.

Но Иов утешает себя мыслью о том, что Бог и человек не могут находиться на одном уровне. Кафка, однако, не утешает себя. И это выводит его за линию «теологии кризиса» Иова – Кьёркегора. Он возвращается назад к иудейской вере, в которой провозглашается: «Наш Бог один». В этих словах я вижу сильнейшее противодействие тем, кто пытается доказать, что божеские этические законы фундаментально отличаются от человеческих. Бог, совершенный мир, «высшее добро» Платона подчиняются тем же законам, что и мы, наша мораль направлена к этой же цели, которую, правда, мы не в состоянии постичь; но мы осознаем путь, который к ней ведет, и мы отказываемся признавать какую бы то ни было языческо-естественную этику, которая на самом деле гетерономна этой цели. В этом, возможно, лежит глубинное объяснение того, почему в Библии говорится о том, что человек не может представить себе образ Бога. «Теология кризиса» Иова и Кьёркегора легко поддается опасности выведения аморального или упрощенно-морального образа Бога из различия, проводимого между Ним и человеком, между совершенным и конечным, эта теология представляет Бога как скалящий зубы фетиш дикарей. Но «не надо создавать никакого мрачного образа». Даже Бегемот и Левиафан не сказали последнего слова о сущности Бога. Бог создал человека «по своему образу и подобию» – слова Ветхого Завета, к которым

вернулся великий Фома Аквинский после печальной ошибки Августина: Signatum est super nos lumen vultus Tui, Domine (Яви нам светлый лик свой, Господи). И Кафка также не видел гетерономии между Богом и человеком, но только неясную и почти безнадежную путаницу, возникшую между преисполненными злобой и ядом судами, которые вершат свои дела бюрократическим путем и в конце концов забывают о Боге.

Несмотря на все эти, лишающие жизнь всякой радости, суды, которые занимают так много места в его произведениях, Кафка писал тексты, наполненные надеждой и любовью, а также спокойствием, добытым тяжелым путем – ценой тысячи страданий.

«Это не отрицание предчувствия конечного предстояния, когда заключение в тюрьму остается реальностью до завтрашнего дня, это более суровое и выразительное утверждение, что оно никогда не наступит. Все это *может* быть, и даже больше, чем может, необходимой основой конечного предстояния».

«Он был того мнения, что каждый человек однажды находит свою единственную дорогу к Богу, и тотчас же немедленно бывает спасен, без всякой оглядки на прошлое, и даже без всякого учета будущего».

Кафка видел перед собой мир Абсолюта не без надежды на спасение (надежды – для нас тоже!) и считал его небесполезным для нас. Того, что он однажды выразил противоположное мнение, было недостаточно для разбалансирования многих «входов» в Абсолют, который он познавал снова и снова и который я принял во внимание, чтобы описать его в биографии Кафки как периодически возникающие возможности для выбора правильной профессии, правильной женитьбы и т. д. Поэтому мне кажется, что при характеристике человека, проникнутого религией, на это следует особо указать; следует отметить также, что этот человек чувствовал железный заслон, который находился между двумя мирами – видимым тленным и совершенным запредельным, он показывал, где можно найти эти миры в любом случае – отрицает ли человек и тот и другой мир, избегает ли их, или лишь случайно упустил из виду, но в принципе знает о них и стремится к каждому из них в жажде познания.

15 марта 1922 г. Франц прочитал мне начало «Замка»[27].

В «Замке» дано подробнейшее описание того, как определенный тип людей реагирует на окружающий мир и как люди ощущают в себе черты некоторых персонажей – Фауста, или Дон Кихота, или Жюльена Сореля, – которые спрятаны в каждом из нас, – не важно, предрасположенность ли это характера, или тоска, или составная часть личности, – поэтому в «Замке» Кафки,

несмотря на всю индивидуальность характера героя, каждый читатель может увидеть себя. Герой Кафки, которого зовут просто К., проходит, как и автор, через жизнь один. Он – компонент одиночества в каждом из нас, и роман показывает это с ужасающей ясностью, словно через увеличительное стекло. Но в то же время это очень специфическое одиночество – и оно, глубоко запрятанное внутри, иногда поднимается на поверхность. К. – человек, имеющий добрые намерения. Ему не нравится его одиночество, он не гордится им, а хотел бы быть активным членом человеческого общества, вносить свою лепту в общую жизнь. Он стремится к хорошей карьере, хочет жениться, иметь семью. Но у него ничего не выходит. Становится все заметнее, как на него надвигается одиночество, и в этом нет ничего случайного, так же как нет ничего неожиданного в том, что старожилы деревни, которую К. облюбовал для себя, отходят от него. Он – чужак, и в этой деревне чужаки находятся под подозрением. Общая атмосфера отчужденности между людьми проявляется в данном конкретном случае. «Здесь никто никому не может быть товарищем». Это – особое ощущение еврея, стремящегося обрести связь с окружающими его людьми другой нации, желающего со всей силой своей души быть к ним как можно ближе, но не имеющего никакого успеха в осуществлении этой мечты.

Но иногда он, в обычном повествовании, затрагивает сложившуюся ситуацию вокруг еврейского вопроса и говорит об этом будто из глубины своей еврейской души. Из его рассказа можно узнать гораздо больше, чем из сотен ученых трактатов. В то же время специфическая еврейская интерпретация неразрывно связана с тем, что присуще всему общечеловеческому, без всяких исключений или нападок на другие народы. Общую религиозную концепцию Кафки я попытался дать в приложении к опубликованному варианту романа. Там есть несколько замечаний по поводу взаимосвязи романа с большинством евреев.

Первая встреча с фермерами очень характерна. К. чувствовал себя потерянным в этой деревне. Он устал. Он видит старого крестьянина. «Можно я зайду сюда ненадолго?» – спрашивает К. Крестьянин что-то невнятно бормочет в ответ. Здесь проводится параллель с тем, как евреи диаспоры предъявляют «право на оседлость». В романе есть эпизод, в котором К. спросил крайне недружелюбного учителя, можно ли зайти к нему и повидать его. Учитель отвечает: «Я живу на Лебединой улице, у мясной лавки». Автор поясняет: «Он, по правде говоря, скорее дал адрес, чем пригласил», но, тем не менее, К. сказал: «Хорошо, я приду». В этой сцене иносказательно показано, как основная нация отвергает чужаков, а евреи, с их дружелюбием, общительностью,

даже назойливостью, описаны с меланхолией.

В этом состоит особенность стиля Кафки: меланхолия, которая, похоже, возникает из объективного, а не субъективного, постороннего мнения.

Но давайте продолжим! Когда К. вошел в дом, он сразу же почувствовал, что здесь его не рады видеть – домашние дела были в разгаре: мытье полов, стирка одежды, кормление ребенка. Хозяева, правда, разрешили ему немного поспать, а потом выставили за дверь. «Молчаливый человек, тугодум, с квадратной фигурой и таким же квадратным лицом», – пришло ему в голову. «Ты не можешь оставаться здесь». Конечно, с евреями не всегда обращались так откровенно грубо или с использованием законных уловок. Все происходило под действием неизбежного закона естества, без чувств, по принуждению. «Нам не нужны никакие гости». К. апеллировал к тому, что они сами пригласили его, что он приехал сюда занять должность сельского землемера. Была ли правда в этой истории приглашения, или К. сам придумал ее, но в этом месте роман обретает новый поворот – вновь возникает параллель с еврейским вопросом. Здесь, в первой главе, простой человек из народа дает свой ответ, который более или менее соотносится со стихийным антисемитизмом: «(Хотят ли они)… этого я не знаю. Если тебя в действительности пригласили, возможно, ты здесь и нужен, – но это исключение, а мы, маленькие люди, просто следуем правилам, и за это нас не следует винить». К. пытается заговорить с девушкой, находящейся в комнате, но «тотчас же рядом с ним возник один из парней и начал тащить его к двери, молча, но со всей силой, будто не было никакого другого способа выразить свое отношение. Старику понравилась эта сцена, и он начал хлопать в ладоши. И даже кухарка стала смеяться вместе с детьми, которые подняли сумасшедший визг». Эта сцена, отражающая вечный удел еврейского народа, выглядит как беспристрастная иллюстрация к высказыванию: «В любом случае евреи должны быть заклеймены». Никаких аргументов не возникло в дебатах по еврейскому вопросу, и мир вместе с нами постановил: «Молча – если нет никакого другого способа заставить их понять».

Враждебная деревня делится Кафкой на две части – собственно деревня и доминирующий над ней замок. Для того чтобы поселиться в деревне, герою требуется разрешение замка. Но замок выступает против него – так же как крестьяне поворачиваются к нему спиной. Замок, выражаясь особым символическим языком романа, стоит на страже божеского, деревня и крестьяне выражают интересы «матери-земли». К. привлекают женщины – с их помощью он надеется войти в

крестьянские семьи и обрести твердую почву под ногами. Таким же средством возвращения к земле является его труд. По мере того как герой знакомится с местными девушками и с характером своей работы, он начинает думать, что выиграл эту игру, и тешит себя мыслью, что совсем скоро сможет разгуливать по окрестностям среди местных жителей и никто не сможет отличить его от них. Весь отрывок наполнен иллюзорным духом психологии ассимиляции: «Только как сельский труженик, отдаленный от благородных обитателей замка, он мог рассчитывать на то, чтобы там его признали. Те люди, которые были так подозрительны к нему, будут разговаривать с ним, когда он придет, не как друзья, но как его односельчане, и однажды он станет неотличим от Герштакера или Лайзмана, и это произойдет очень быстро, все от этого зависит – и тогда все дороги и все пути будут ему открыты в один момент». Размышления К. следуют семейной традиции: постигать Бога посредством человеческой общности, укреплять свою веру через срастание с естественными формами жизни. Но К. мог объяснить эту загадку лишь рационально – на деле вжиться в эту атмосферу (в чужом окружении) он до конца не мог. «Я живу здесь довольно долгое время, и до сих пор чувствую свою отчужденность, – жаловался он школьному учителю. – Я чужой и для крестьян, и для обитателей замка». – «Между крестьянами и замком нет никакой разницы», – поправил его школьный учитель. И затем снова звучит, как парафраз известного высказывания, цитата из псалмов: «Как мы можем петь песню Господина в незнакомой земле!»

Различия между К. и местными жителями, изложенные в отрывке ниже, раскрывают фамильные черты. С одной стороны, еврей идет против старых обычаев – и он становится непереносимым, не желая того, с другой стороны, он чувствует, что обладает лучшими знаниями, чем люди в этом местечке, и хочет сделать жизнь более простой, действенной, чем она есть, но жители, со своим недоверчивым своеволием, остаются недосягаемыми. Во многих сценах Кафка с иронией показывает, с какой неожиданной силой устаревшие и изжившие себя устои жизни деревни и замка оказывают сопротивление пришельцу. «Ты не из нашей деревни, и ты – ничто. Но, к сожалению, ты, кроме того, странник, человек, который всегда в дороге, ты для нас лишний, постоянно досаждаешь нам своим присутствием, нам непонятны твои намерения – из-за всего этого я не могу тебя полностью понять. Ты – тот, кто ты есть. Я слишком много повидал в своей жизни, с меня достаточно. Но давай теперь подумаем о том, о чем ты просишь… Ты находишься в нашей деревне лишь день или два, и уже думаешь, что знаешь все

лучше, чем люди, которые здесь живут. Я не говорю, что нельзя вмешаться в нашу жизнь даже в рамках правил и традиций, но определенно это надо делать не так, как ты, который все время говорит «нет» и навязывает свое собственное мнение».

То же самое сказал ему настоятель церковного прихода, однако он выразил свое недовольство К. более мягким тоном, хотя столь же решительно. «Вы были приглашены как землемер, но у нас сейчас нет работы для вас… Никто не держит вас здесь, но никто и не выгоняет… Кто будет выгонять вас, г-н землемер? Недостаток ясности в предварительных вопросах уже гарантирует вам вежливое обращение. Только, позвольте вам заметить, вы чересчур чувствительны».

В течение долгой истории страданий еврейского народа уже звучали эти ноты. К. страдает жалко и нелепо, несмотря на то что относится ко всему так честно и совестливо. Он остается один. И через все болезненные ситуации, незаслуженные и невидимые, но очевидные страдания проходит девиз: «Все надо делать не так. Следует найти совершенно иной путь для того, чтобы обрести свои корни».

В до сих пор неопубликованном фрагменте от 1914 г. Кафка выразил переполнявшие его чувства еще более остро. «Однажды летом, ближе к вечеру, я пришел в деревню, в которой никогда прежде не бывал» – этим предложением начинается короткий рассказ, занимающий всего четырнадцать страниц, но затем, увы! прерывается. «По обеим сторонам деревенских домов росли высокие старые деревья. Только что прошел дождь, дул свежий ветерок, и я чувствовал себя прекрасно». Открылась дверь, и дети фермера-арендатора, щебеча, как птицы, выскочили наружу посмотреть, кто проходит мимо их дома столь поздним вечером. Рассказчик запнулся, но прохожий подсказал. «Путешественнику все может показаться странным», – извинился он с улыбкой. Рассказчик хотел провести ночь в деревне и стал оглядываться в поисках гостиницы. Первый человек, с которым он заговорил, сказал своей жене: «Хотелось бы мне знать, зачем этот человек пришел сюда. Его никто не знает. Он бродит здесь непонятно зачем. Надо держать ухо востро!» Далее Кафка продолжает: «Он говорил так, будто принимал меня за глухого или за иностранца, не понимающего язык». Далее последовал жуткий разговор с этой семейной парой. Они предоставили путешественнику ночлег в своем доме. Все происходило в атмосфере совершенно неожиданной (или все же не совсем неожиданной) враждебности. «Если мое присутствие доставит вам хоть малейшее беспокойство, скажите мне об этом прямо, и я пойду в гостиницу, мне все равно». «Он говорит так много», – тихо сказала женщина. «Это

может быть расценено только как оскорбление; они ответили на мою вежливость грубостью, но хозяйка – старая женщина, и я не могу ответить ей соответствующим образом. И именно моя неспособность защитить себя, невозможность должным образом дать отпор этой старой женщине подействовали на меня больше, чем этого следовало бы ожидать. Я почувствовал некоторое удовлетворение от определенной доли вины, лежащей на мне, и не по причине того, что я говорил слишком много, потому что в действительности сказал только то, что было необходимо, а по причине, близко касающейся моего существования». В конце следует описание того, как неуклюжий и непонятливый путешественник против своей воли разбудил детей и все в доме было перевернуто вверх дном.

Негативные аспекты еврейского вопроса, беззащитность евреев показаны также в новелле «Певица Жозефина, или Мышиный народ» – последнем завершенном произведении Кафки, которое он предназначил для опубликования. К каким конкретно людям относилась картина затравленной, беспомощной мышиной массы – сказать со всей определенностью трудно. Безмерное тщеславие литератора, «звезды», лидирующей личности, которая желает утвердить себя в глубине страдающего народа, – таков иронический портрет главного героя, полагающего, будто мир ждет его одного, его спасительного слова, которое только он и может произнести. Этот портрет с прискорбием относится также к общему как для еврейского сообщества, так и для еврейской литературы явлению – к человеку, который думает, что избран он один, с насмешливым превосходством отвергает или просто не замечает того, что советуют, делают или говорят другие. (Сам Кафка был полной противоположностью своему персонажу, он был скромным и смиренным человеком, не имевшим ни малейших «замашек спасителя». И он, я так думаю, продвинулся на этом пути далеко вперед. Остается открытым вопрос, насколько неблагоприятные условия жизни определили его пониженную самооценку и поднялся бы ли он в противном случае до высот великого религиозного пророка.) Не разуверяйте меня! Положение беспомощной мыши сродни слабости человечества в битве против демонов зла. Тщеславные пророки имеются и среди других народов. И только в отношении евреев – в сравнении их беззащитного положения с позицией безответственности, бессовестности «известных людей» – дается наиболее отточенный портрет в миниатюре, символ общего страдания человечества, представленный в форме карикатуры.

В «Жозефине», однако, обозначен путь, ведущий к

позитивному решению, и мне кажется, не случайно мысль об этом возникла в последней работе Кафки. Жозефина, певица, не повинуется людям и прячется от них, а те в свою очередь очень тепло восхищаются ее искусством, считают его совершенно необходимым. Далее в истории говорится: «Но люди спокойно, без выражения какого-либо разочарования, властно, полагаясь на свое множество, даже если их наружность и говорила против них, *могли только делать подарки и никогда не получали их, даже от Жозефины, шедшей своим путем.* Для Жозефины, однако, была лишь дорога, ведущая вниз. Наступил день, когда раздался ее последний писк, и больше его никто никогда не слышал. *Она была маленьким эпизодом в истории нашего народа, и люди переживут эту потерю».* Звучит настоятельное требование, чтобы индивидуум активно участвовал в судьбе своего народа, инкорпорировался в жизнь людей. Читатель этой биографии найдет достаточно оснований для того, чтобы увидеть, как Кафка, в своей специфической еврейской манере, пытается найти связь с людьми. В последней главе об этом также сказано. Конечно, Кафка не верил, что для установления этой связи было бы достаточно перемены географического адреса. Кроме того, требовались перемены в сердце. И то и другое должно было изменяться, и то и другое было необходимо. Приведение в порядок своей души было так же необходимо, как нормализация условий окружающей жизни.

Теперь каждый может спросить, почему Кафка выражал эту мысль только в своем дневнике и в письмах, и никогда – в литературных работах, почему, как писатель, он раскрывал себя лишь в аллегориях или символах, иносказательным образом?

Во-первых, следует признать, что мышление Кафки было образным, оно не состояло из рассуждений – в этом была его особенность. Образы превалировали даже в разговорах и спорах. И в его дневнике были невыразимо прекрасные лирические фрагменты: «Мечты плывут, поднимаются по реке, по лестнице взбираются на набережную. Надо остановиться, поговорить с ними, они знают так много, только откуда они пришли – не знают… Почему вы поднимаете руки, вместо того чтобы заключить нас в объятия?»

Однако не следует путать «аллегорию» и «символ». Кафка никогда не был «аллегоричным», но он был «символичным» в высшем понимании этого слова. Аллегория создается для того, чтобы сказать «что-то еще» для чего-то. Это «что-то еще» само по себе не представляет большого значения. Якорь, который брошен для надежности, не интересует нас как собственно якорь. Нас не волнует его цвет, форма или размер. Потому что, подобно

иероглифу, он ясно, четко и определенно обозначает «Надежду». «Оловянный солдатик» Андерсена, который олицетворяет доброе, терпеливое, любящее сердце и многое другое, будет существовать вечно, он тронул наши сердца историей своей короткой жизни. Оловянный солдатик – это не аллегория, это символ. Символ имеет две стороны. Одна существует в нашем воображении, как предположение, другая – объективная, реальная. Символ объединяет их особым образом – кидает навстречу друг другу, смешивая одну с другой. И таким образом – чем глубже вникаешь в подробности жизни оловянного солдатика, тем яснее видишь универсальное бытие. Маркиз О., занимающийся проблемами доверия между родителями и детьми, поднялся выше и поставил вопрос о вере в целом, вере в мировой порядок. Почему же тогда автор не мог прямо выразить свое понятие универсальности, которое он хотел выразить? Потому что о нем нельзя высказаться до конца, потому что оно простирается в бесконечность. И только в особых случаях автор показывает отправную точку для ухода в бесконечность. Аллегория создается иным путем, она обозначает предел бесконечности, играет с ней, будто с игрушкой, – и это знак утомленной души. Символ, со своей стороны, – это горящий порыв души, выражение мощи. Они дозволяют человеку послать луч в бесконечность – и в то же время (согласно точке зрения, что каждый может получить кусочек этого лучика) пославший его обретает связь с другой личностью, другими людьми, со всем человечеством. И все это выражается одновременно – в одних и тех же словах, в одной-единственной ситуации.

За всеми сценами, описываемыми Кафкой, открывается бесконечная перспектива. Но сами сцены состоят из простого повествования, наполненного сияющими лучами, любовью к природе и верой в нее, и это превосходное описание, кажется, не имеет конца. У Кафки можно встретить и сцены из канцелярской жизни, которые были столь хорошо знакомы писателю, или сцены противостояния чиновников в «Процессе». Только человек, который любил жизнь во всей ее глубине, мог так писать. У него нет ни одного слова, которое не добавляло бы новую краску или не имело бы никакого смысла. Мастерство стиля Кафки – не простой эстетизм, это моральное явление, возникшее в результате особой честности автора. Это само по себе было бы значительным феноменом, даже если бы речь шла только о простом реалистическом изображении. Но события, описываемые им, относятся не только к личности автора. Каждая деталь излучает свет, указывающий на вечное, трансцендентальное, на идеальный мир. В любом великом произведении искусства можно найти вечный свет, струящийся сквозь тленные формы. Художественные

приемы Кафки, однако, не превратились в формальные принципы: в его работах очень трудно отделить содержание от формы, настолько тесно они сплетены.

Глава 7
Последние годы

«Нет никого, кто бы вполне понимал меня. Иметь человека, который обладал бы таким пониманием, например женщину, значило бы иметь надежную опору, иметь Бога», – писал Кафка в своем дневнике за 1915 г. Пожалуй, он обрел это счастье к концу своей жизни, она стала более насыщенной по сравнению с предыдущим духовным развитием.

Летом 1923 г. Франц остановился у сестры и ее детей в Мюритце, на Балтийском побережье. Там он находился на отдыхе в колонии Народного дома для берлинских евреев, созданного д-ром Легманном. Там он, как и я, обрел надежду. Как раз в начале этого начинания, которое сейчас получило широкое распространение в Палестине, Кафка проявил к нему сочувственный интерес и однажды убедил свою невесту Ф., которая находилась в Берлине, оказать благотворительную поддержку этому Дому. Много лет спустя он встретил на пляже детей из этого Дома, стал с ними играть, познакомился с их учителем, а затем проводил с ними социально-образовательные вечера.

Однажды Франц увидел на кухне дома девушку, которая чистила рыбу. «Такие нежные руки, и такая кровавая работа», – произнес он с неодобрением. Девушка была сконфужена, и ей дали другую работу.

Это было началом дружбы Кафки с Дорой Димант, спутницей его жизни.

Дора Димант, которой в ту пору было, должно быть, девятнадцать лет, происходила из весьма почтенной польско-еврейской семьи. При всем уважении к отцу, которого она любила, ей было с ним скучно. Она не могла выдержать принуждений и ограничений, накладываемых традициями, – аналогичный случай с актером Лёви, у которого уважение к родителям сочеталось с пониманием невозможности следовать по их стопам. Дора покинула маленький польский городок и нашла работу вначале в Бреслау, затем в Берлине и уехала в Мюритц как работница Дома. Она блестяще изучила иврит. Сам Кафка изучал иврит с особым рвением. Исписанных листков с упражнениями по ивриту осталось ничуть не меньше, чем литературных рукописей.

Во время одного из первых разговоров Дора прочитала вслух главу из Асийи в оригинале на иврите. Франц увидел в ней драматический талант. По его совету и под его руководством

позже она стала упражняться в этом искусстве.

Франц вернулся после летнего отдыха, преисполненный смелых мыслей. Его решимость уехать в Берлин и жить с Дорой была тверда, и он оставался в то время непреклонным. В конце июля он покинул Прагу, оказав успешное сопротивление возражениям семьи. Он писал мне первое время из Берлина, что чувствует себя счастливым и что ему даже хорошо спалось, чего я не слышал от него уже несколько лет. Он жил в Дорой в пригороде Штеглица, в доме номер 8 по Михельштрассе. Там был написан рассказ «Маленькая женщина» со сравнительно счастливым концом, хотя героиня живет в постоянном гневе на собственное «я», которое ей чуждо, – не меньше, чем домохозяйке, которая причинила немало зла молодой паре.

Шесть недель спустя они переехали в дом номер 13 по Грюнвальдштрассе вместе с д-ром Ретбергом, женским врачом, на виллу, о которой Франц отзывался восторженно, хотя у него там были всего две скромные комнаты. Я приходил повидать его каждый раз, как бывал в Берлине, – всего три раза. Я обнаружил там идиллию. По крайней мере, я увидел моего друга в хорошем расположении духа, хотя его физическое здоровье, по правде говоря, ухудшилось. Франц писал: «Я уехал от них. Этот переезд в Берлин был великолепным, теперь они ищут меня и не могут найти, по крайней мере в данный момент». Он, в конце концов, достиг идеала независимой жизни в своем собственном доме и был уже не сыном, жившим с родителями, а в некоторой степени – главой семьи.

Очевидно, что Кафка не стремился к парадоксальности и не пытался достичь недостижимый в принципе идеал, как Кьёркегор и приверженцы «теологии кризиса», он – и это имело решающее значение – жаждал наполненной, благой и правильной жизни. Он стоял скорее на позициях Мартина Бубера, который, полностью и принципиально отвергая Кьёркегора, считал: «Женитьба – это образцовая связь, не сравнимая ни с какой другой связью, она ведет нас к еще более великой связи, и только в этом качестве мы сможем стать свободными детьми Божьими. Женщинам угрожает конечное существование, и нет ничего опаснее для нас, чем быть связанными с тленным бытием, однако именно на осознании этой опасности зиждется наша надежда на спасение, и только через осуществление конечных целей наш человеческий путь ведет к бесконечному» (Бубер. Вопросы индивидуальности, 1936). Я видел, что Кафка был счастлив со своей спутницей жизни в последние годы, на протяжении которых он, несмотря на ужасную болезнь, совершенствовался. Он с удовольствием работал, читал мне вслух «Маленькую женщину», писал «Нору», из которой он

также прочитал мне несколько отрывков. Когда я представил его агенту издательской фирмы «Шмиде», он согласился, не заставив себя долго убеждать, опубликовать четыре рассказа. В заглавие сборника он вынес название одного из рассказов – «Голодарь».

Исходя из этих подробностей, указывающих на интерес Франца к жизни, я впоследствии набрался смелости и посчитал недействительными все его указания, написанные задолго до этого периода, в которых запрещалась посмертная публикация каких-либо его документов.

Не только для меня стало ясным, что Франц нашел спасение в своем целостном существовании и стал новым человеком; читая его письма, вы можете почувствовать доброе состояние его духа и твердость, которую он в конце концов обрел. Возьмем, к примеру, письмо, адресованное сестре:

«Дорогая Валли!

Стол стоит возле огня. Я только что отодвинул его от камина, поскольку там слишком жарко, даже для моей спины, которой всегда холодно. Моя керосиновая лампа чудесно горит, она – просто шедевр. Лампа была собрана из маленьких кусочков, разумеется, не мной. Это чудо, что я обладаю такой вещью! Ее можно зажечь, не снимая стеклянного купола, единственный недостаток – это то, что она не горит без керосина. И вот я сижу и пишу тебе письмо. И вот я сижу, положив перед собой твое дорогое письмо, написанное так давно. Часы тикают, я привык к этим звукам настолько, что перестаю их замечать, особенно если делаю что-либо заслуживающее похвалы. На самом деле часы имеют ко мне личное отношение, как и многие другие вещи в комнате, особенно с тех пор, как я замечал, или, точнее, мне позволяли заметить, как хороша каждая вещь с любой стороны. Более того, полное изложение сути вещей потребует множества страниц – они, похоже, начинают поворачиваться ко мне обратной стороной, несмотря на все календари, о чьих сентенциях я уже писал отцу и матери. Позже начинаешь думать, что с календарем происходят какие-то метаморфозы. Либо он абсолютно не общителен – например, ты хочешь от него совета, обращаешься к нему, но единственно, что он может ответить: «Праздник Реформации» (возможно, в этом ответе заключается глубинное значение, но кто его может определить?), – либо, напротив, он грубо ироничен. Позже, например, я как-то проникся идеей, что, если буду делать нечто доброе или исполненное смысла, тогда буду обращаться к календарю – только в этом случае он ответит мне актуально, на злобу дня, а не так, как тогда, когда я пунктуально обрывал его листки в определенное время: «Даже

слепая собака время от времени что-нибудь да находит». В другой раз я ужаснулся, прочитав поверх законопроекта, касающегося добычи каменного угля: «Счастье и довольство составляют радость жизни». В этом изречении, наряду с иронией, заключалась ужасающая бесчувственность: в нем выражалось нетерпение, невозможность больше ждать дня моего ухода, однако, возможно, это было лишь желание немного облегчить мою участь. Вероятно, под страницей, на которой будет указана дата моего ухода, будет другая, которую я не увижу. На ней будет написано: «Бог говорит каждому любящему сердцу, что настанет день, в котором мы все примем участие». Нет, нельзя высказывать свое мнение по поводу своего личного календаря. «Он только человек, такой же, как ты, и не более».

Если я попытаюсь написать тебе о том, с чем соприкасаюсь в жизни, то никогда не приду к концу, и сможет создаться впечатление, будто я веду напряженную общественную жизнь, но на самом деле моя жизнь спокойна, даже слишком спокойна. Я очень мало знаю о волнениях в Берлине, но, полагаю, все осталось по-прежнему. Вы все знаете о Берлине больше меня.

Кстати, знает ли П., что ты сказала, когда в Берлине тебя спросили: «Как поживаешь?» Да, конечно, он должен об этом знать. Вы все знаете о Берлине больше, чем я. Итак, рискуя повторить старую-старую шутку, но, учитывая то, что она всегда злободневна, отвечаю: «Испорченный *x* числовой индекс». А этот человек, который с энтузиазмом говорил о фестивале физической культуры в Лейпциге: «Какое потрясающее зрелище – 750 тысяч марширующих атлетов!» Другие ответы, в которых количество подсчитано более тщательно: «Да, в общем-то это не имеет значения – три с половиной мирных атлета»[28].

Как идут дела в еврейской школе? Читала ли ты записки молодого учителя из «Самозащиты»[29]? Они очень интересны, и в них чувствуется убежденность. Я снова слышал, что А. очень хорошо поживает, а г-жа М. произвела революцию в гимнастике в Палестине. Ты не должна слишком расстраиваться из-за того, как старый А. ведет свой бизнес. Вообще, это великое дело – взвалить всю семью к себе на плечи и доставить их за море в Палестину. То добро, которое он делает, – подобно чуду, сотворенному Моисеем с водами Красного моря.

Я всегда благодарен М. и Л. за их письма. Удивительно, как их почерки, если их сравнить, свидетельствуют даже не о различии характеров, а о различии во внешности. По крайней мере, так мне кажется по двум последним письмам. М. спрашивает, что меня больше всего интересует в ее жизни. Что ж, мне интересно, что она пишет, танцует ли еще. Здесь, в

Еврейском народном доме, все девушки изучают ритмический танец, разумеется, бесплатно. Посылаю привет Л., от которой в восторге Анни Г., она усердно изучает иврит, уже почти умеет читать, и Анни Г. поет новые песни. У Л. тоже продвигаются дела?

Но сейчас уже пора ложиться. Что ж, я писал тебе почти целый вечер. С любовью…»

Началась страшная зима периода инфляции. Я думаю, что она подточила силы Франца. Каждый раз, когда он приезжал в тихий пригород Берлина, у него был такой вид, «словно он возвращался с поля битвы» – так сказала мне Дора. Страдания несчастных ранили его до глубины сердца. Он возвращался «серым как пепел». «Он живет такой напряженной жизнью, – говорила Дора, – что уже тысячу раз умер». Но это не было простой жалостью; он сам терпел тяжелые лишения, поэтому упрямо настаивал на том, чтобы ему позволяли обходиться своей мизерной пенсией. Только в исключительно тяжелых случаях и под большим давлением он принимал деньги и продуктовые посылки от своей семьи. Когда он бывал вынужден соглашаться на это, то чувствовал, как нависает угроза над добытой с таким трудом независимостью. Ему удалось заработать небольшую сумму, заключив контракт с издательским домом «Шмиде». После этого Франц решил отдать «семейные долги» и дорогостоящий подарок ко дню рождения. Той зимой не хватало угля. Масло он получал из Праги. Когда Франц услышал, что его сестра является членом Пражского еврейского женского клуба, занимавшегося посылкой продовольствия в Берлин, он дал ей адреса людей, у которых не было средств. «Нельзя делать никаких промахов, так как деньги для отправки этих вещей очень скоро кончаются. Я посылаю адреса немедленно; конечно, мог бы послать еще, потому что снабжение недостаточно». К некоторым адресам он добавлял примечание «кошерный». Однажды он посмотрел на одну такую посылку и критически заметил: «Она лежит перед нами, мертвенно серьезная, без малейшего оттенка улыбки на плитке шоколада, на яблоке или на чем-либо подобном, будто говоря: «Теперь живите еще несколько дней на крупе, рисе, муке, сахаре и кофе, затем умрите, как можете, мы больше ничего не можем для вас сделать». Никакими способами невозможно было успокоить его тонкую чувствительную натуру.

Постольку, поскольку ему позволяло здоровье, Франц посещал Институт по изучению еврейских обычаев. Он ходил на вводные лекции профессора Торшинера и профессора Гутмана по тематике изучения Талмуда. Он читал простые тексты на иврите.

Он уезжал из пригорода Берлина только ради этих занятий.

Между Рождеством и Новым годом у Франца было несколько приступов болезни с повышением температуры, от которых он оправился. В феврале он отправился в Зехлендорф. Хозяйкой дома, в котором он находился в то время, была вдова писателя Карла Бусса. Там он жил уединенной жизнью. Очень редкие посетители приезжали из Берлина – д-р Рудольф Кайзер, Эрнст Бласс.

Франца беспокоило повышение цен. Он писал: «Если вы ограничите себя в жилплощади (я думаю, что откажусь от одной комнаты моей замечательной квартиры) и в еде (я полагаю соорудить нечто превосходное из двух метиловых спиртовых духовок и одной импровизированной датской печи – что, может быть, будет выглядеть непростительной экстравагантностью по сравнению с бывшим жильцом моей хозяйки, готовившим всю еду без исключения в своей постели), если вы будете жить настолько ограниченно, насколько сможете, лишь благодаря помощи отца, матери и сестер, и если ничего из ряда вон выходящего не случится, вы вдруг увидите, что ничего уже нельзя поделать. Однажды я вызвал доктора: г-н Л. рекомендовал мне знаменитого профессора. К счастью, этот врач пришел не сам, а послал ассистента, молодого человека, которому еще не было тридцати. Он не обнаружил ничего, кроме температуры, и лишь приказал оставаться в постели и ждать. За это посещение он потребовал 160 чешских крон. Худшее – в том, что такие цены не только оправданы положенной стоимостью услуг, но и соответствуют остальным ценам. Все так дорого, что нужно зарабатывать золотые марки, если хочешь здесь жить. Иногда я начинал убеждать себя, что должен отказаться от борьбы с берлинскими ценами и думать о Шлезене, Вене и об озере Гарда».

Когда кто-либо приезжал повидать Франца, он говорил о своих горестях лишь в шутливом тоне. Так, он однажды сказал мне, якобы у него есть план открыть вместе с Дорой, которая прекрасно готовила, небольшой ресторанчик, в котором сам он был бы официантом.

В конце концов, не могло быть не замеченным то, что физическое здоровье Франца, несмотря на его духовную уравновешенность, стало ухудшаться. Одна из его сестер приехала его повидать. Затем я вернулся из Берлина и сказал о состоянии здоровья Франца его дяде, врачу, который приехал в Берлин и подтвердил мои худшие опасения. 14 марта 1924 г. я был в Берлине и смотрел ночное представление Яначека (Енуфа) в Берлинской государственной опере и 17-го отвез Франца обратно в Прагу. Дора и д-р Клопшток проводили его до станции.

Через несколько дней Дора последовала за Францем.

Франц снова стал жить с родителями, и, несмотря на то что его окружала нежная забота, он испытывал чувство, что его планы быть независимым потерпели крушение. Он захотел, чтобы я навещал его каждый день. Никогда раньше он не говорил с такой энергией, никогда не был так внимателен к моей работе, которой в то время было в переизбытке. В тот раз он говорил так, будто чувствовал, что мы с ним никогда больше не увидимся. После разговора он сказал почти тоном приказа: «Приходи завтра в это же время».

Когда ему стало хуже, его перевезли в санаторий.

«10 апреля меня привело в ужас известие, что Кафку привезли из санатория, находившегося в Венском лесу, из-за того, что у него обнаружился туберкулез гортани. Самый ужасный день».

Для переезда из Венского санатория был только один автомобиль с открытым кузовом. Шел дождь, и дул ветер. На протяжении всей поездки Дора ехала стоя, пытаясь защитить Франца своим телом от непогоды.

Роберт Клопшток тоже доказал свою любовь и верность по отношению к Францу. Он оставил исследования в Берлине, которые позже привели к важным научным результатам в области лечения легких, и посвятил себя исключительно присмотру за Кафкой вплоть до его смерти. Дора и д-р Клопшток были своего рода «маленькой семьей» для Франца. Они были с ним, когда он был перед лицом смерти. Сам Франц знал, что он безнадежно болен, но был стоек.

В венской клинике, даже под наблюдением профессора Гаека, он не пошел на поправку. Все усилия сделать лечение более действенным, например содержание в отдельной комнате, были напрасными. Несколько дней он даже лежал в комнате рядом с умирающим человеком и после рассказал мне с большим восхищением о том, как был терпелив священник, сидевший у постели умирающего и утешавший его до последней минуты, когда все врачи «уже давно удалились». Я писал письма влиятельным людям Вены. Верфель с энтузиазмом взялся помочь Францу, но профессор Гаек очень настойчиво заявил, что не сможет наблюдать Кафку, если тот не будет числиться пациентом палаты номер такой-то.

В конце концов, Доре и Роберту Клопштоку удалось перевести Франца в живописный санаторий в Кирлинге, недалеко от Клостернейбурга. Вот отрывок из письма, написанного мне Верфелем: «Профессор Гаек утверждает, что единственный шанс для Кафки – оставаться в больнице, поскольку там всегда под

рукой средства для лечения. Он ведет настоящую борьбу против того, чтобы его вывезли оттуда».

Кафка провел последние недели своей жизни в чудесной комнате, наполненной цветами и выходившей на зеленую лужайку, окруженный двумя преданными друзьями. Он старался быть терпеливым и веселым, насколько это было возможно при его тяжелой болезни.

Профессор Нейман и университетский преподаватель д-р Оскар Бек прибыли из больницы в Кирлинг. Приведу несколько строк из письма, написанного 3 мая д-ром Феликсом Вельтшем: «Вчера меня позвала в Кирлинг фрейлейн Димант. У д-ра Кафки были очень резкие боли в гортани, особенно при кашле.

Когда он пытается принимать пищу, боль усиливается до такой степени, что глотать становится почти невыносимо. Могу констатировать, что туберкулез производит разрушающее действие, которое затронуло также часть надгортанного хряща. В этом случае операция немыслима, и я сделал пациенту инъекции. Сегодня мне позвонила фрейлейн Димант и сказала, что лечение помогло лишь на время и что боли вернулись с прежней силой. Я посоветовал фр. Димант увезти д-ра Кафку в Прагу, поскольку профессор Нейман считает, что он проживет около трех месяцев. Фр. Димант отвергла этот совет, она полагает, что пациент, таким образом, догадается о степени тяжести своей болезни».

«Ваш долг – осознать всю серьезность ситуации. Психологически я могу понять, что фр. Димант, самоотверженно преданная пациенту, считает своим долгом созвать как можно больше специалистов в Кирлинг для консультации. Поэтому я разъяснил ей, что д-р Кафка в таком тяжелом состоянии, в котором ему не сможет помочь ни один специалист, и единственное, что можно сделать для него, – это облегчить боль морфием или пантопоном».

Последние несколько недель Францу было рекомендовано как можно меньше говорить. Поэтому он использовал для общения листы бумаги, на которых писал то, что хотел бы сказать. Мне досталось несколько таких записок. В одной из них он пишет: «Новелла выходит под новым заглавием «Певица Жозефина, или Мышиный народ». Заголовок, по правде говоря, не слишком приятный, но в данном случае он имеет особое значение». Франц много думал о своем отце. Как-то он рассказал Доре: «Когда я был маленьким мальчиком и еще не умел плавать, то ходил с отцом, который тоже не умел плавать, в купальни для не умеющих плавать. После купания мы сидели голые в буфете. Перед нами лежала колбаса и стояло по полпинты пива. Обычно отец брал с собой колбасу из дома, поскольку в буфете она стоила

слишком дорого. Вообрази себе громадного человека, как мой отец, как он раздевается в маленькой темной кабинке, как он затем вытаскивает меня, дрожащего и пристыженного, оттуда, как пытается научить меня тем способам плавания, которые он предположительно знает, и все остальное. А потом пиво!» Несмотря на то что Кафка был трезвенником и вегетарианцем, он умел оценить пиво, вино и мясо, вдыхал запах горячительных напитков и мог оценить их пьянящий аромат – нельзя было понять, делал ли он это искренне или иронически. Ближе к концу жизни он снова стал пить пиво и вино и был от этого в восторге. В следующем описании можно увидеть насыщенность Франца жизненными силами. «Мой кузен был восхитительным человеком. Когда этот кузен Роберт, которому было уже около сорока, приходил около пяти часов вечера в бассейн на остров Софии, – он не мог прийти раньше, поскольку был адвокатом и у него было много дел, – быстро сбрасывал одежду, прыгал в воду и греб сильными движениями, словно красивый дикий зверь, со сверкающими глазами, устремлялся по направлению к плотине – это было восхитительно! А полгода спустя он умер, доведенный до смерти докторами. От их инъекций у меня возникает сплин». Кафка много пишет об условиях, в которых он находился, о том, что ему было нужно, о пилюлях, перевязках. Он просил «высокую шляпу, как эта». Он говорил такие слова, как «сыновья царей», «в самую глубину, в глубинных убежищах». Он устал, выражал нетерпение. А потом снова: «У Макса 27 мая день рождения», «Часто предлагаю вино», «Как прекрасно дать людям глоток вина, потому что каждый человек считает себя немного знатоком в этом деле», «Какое удовольствие подарить человеку то, что доставит ему радость, и увидеть его лицо в этот момент», «Все должны заботиться о невысоких цветах, которых множество в округе. Зачем люди срывают их и ставят в вазы? Возможно, потому, что вазы так хороши?» В воскресенье 11 мая я приехал из Вены снова повидать Франца. «Этой поездке предшествовала любопытная сцена. Когда я пришел в субботу утром в мою издательскую контору, мне тут же закричали: «Телефонный звонок! Безотлагательно! Вам звонит женщина из Вены!» Не снимая пальто, я бросился в телефонную будку. Это была Дора, которая приветствовала меня словами: «Ты мне звонил?» Я: «Нет, я только что пришел». Дора: «Звонили из Праги, из «Прагер тагблатт», поэтому я позвонила тебе». Несмотря на все мои усилия прояснить ситуацию, дело осталось невыясненным, потому что в действительности из газеты «Прагер тагблатт» часто звонили в Вену, и никогда – в Кирлинг. В дальнейшем выяснилось, что ни одна из сестер Кафки не звонила в тот день в Кирлинг.

Что было поразительно во время моей последовавшей за этим разговором поездки, так это то, что рядом словно витал дух смерти. Когда я выходил из дома, мне сказали, что молодой человек в квартире под нами лежал на смертном одре. В поезде со мной заговорила одетая в черное женщина, которую я сразу не узнал. Она была вдовой министра Тусара и сказала мне о смерти мужа и о своем несчастье. В Вене я ни с кем не разговаривал ни по дороге от станции к отелю, ни по пути от отеля к станции. Рано утром я сел на первый поезд, отправившийся в Клостернейбург, чтобы там пересесть на поезд, который шел в Кирлинг. Я пробыл там до вечера, потом вернулся в Вену и на следующее утро уехал в Прагу. До полудня Франц выглядел свежим. Несмотря на все свидетельства врачей, его положение не показалось мне безнадежным. Мы говорили о нашей следующей встрече. Я планировал путешествие в Италию, отправиться в которое мы собирались из Вены.

Первое, что рассказала мне Дора, – это то, как Франц, желавший на ней жениться, послал ее набожному отцу письмо, в котором объяснял, что хотя, с точки зрения отца Доры, он не является достойным евреем, он все же надеется, что тот примет его в семью. Отец Доры отправился с этим письмом спросить совета у самого почтенного человека, чей авторитет значил для него больше, чем все другие, – у рабби Герера. Рабби прочитал письмо, отложил его в сторону и ничего не сказал, кроме единственного слова «нет». Без дальнейших объяснений. Он никогда не давал объяснений. Таинственное «нет», произнесенное рабби, было оправдано вскоре наступившей смертью Франца. Отец Доры, который был у Франца как раз передо мной, вернул ему письмо. Тот очень расстроился, считал отказ дурным предзнаменованием, но улыбался. Он делал усилия, чтобы думать о другом. Затем Дора отвела меня в сторону и прошептала, что этой ночью перед окном Франца появлялась сова. Птица смерти.

Но Франц хотел жить. Он в точности, без всяких возражений, следовал указаниям врачей, чего я ранее у него не замечал. Если бы он раньше познакомился с Дорой, у него раньше бы возросло желание жить, и это было бы вовремя. Так мне кажется. Франц восхищался тем, как прекрасно Дора знала польско-еврейские религиозные традиции. В то же время молодая девушка, которая многого не знала о достижениях западной культуры, любила и почитала своего учителя. Она соглашалась с его мечтами и фантазиями и любила превращать их в игру. Они шалили вместе, как дети. Например, я помню, как они оба окунали руки в один и тот же таз и называли это «семейным купанием». Дора трогательно заботилась о больном. Впечатляло также последнее

пробуждение его жизненных сил. Дора сказала мне, как радовался Франц, когда профессор Чассны на последней стадии болезни сказал ему, что у него наблюдаются небольшие улучшения в гортани. Он снова и снова обнимал Дору и говорил, что никогда не хотел так жить, как в тот момент. В те дни его душевное состояние было противоположным тому, каким оно было во время нашего совместного путешествия в Шелезен в ноябре 1919 г. Я помню два фрагмента из этого путешествия. Кафка говорил о «Соках земли» (Growth of the Soil) Гамсуна и объяснял, что в этом романе, подчас вопреки желанию автора, зло идет от женщин. Позднее, когда поезд где-то остановился, он произнес тоном глубочайшего отчаяния: «Как много станций по дороге к смерти, как медленно все движется!» Теперь, in articulo mortis[30], он почувствовал вкус жизни и захотел жить.

Франц Кафка умер 3 июня, во вторник. Тело было увезено в Прагу в опечатанном гробу и 11 июня в четыре часа было опущено в могилу на тщательно выбранном месте на пражском еврейском кладбище – Стрешницком, недалеко от главного входа. Вернувшись в погруженный в траур дом на Старой площади, мы увидели, что большие часы остановились на четырех. Позже родители Франца были захоронены в ту же могилу.

Я смог узнать подробности о последних часах Франца по рассказам д-ра Клопштока.

В понедельник утром Франц очень хорошо себя чувствовал. Он был весел, радовался, что Клопшток вернулся из города, ел клубнику и вишню и наслаждался ароматом ягод. Последние дни он жил словно с двойной интенсивностью. Он хотел, чтобы те, кто был рядом с ним, пили большими глотками воду и пиво, поскольку сам он не мог этого делать. Он радовался удовольствию других. В последние дни он много говорил о напитках и фруктах.

В понедельник он, кроме того, написал родителям последнее письмо. Этот документ свидетельствует о его самоконтроле и о сыновней любви к родителям. Это письмо можно сравнить с письмами Гейне к матери, которые он писал, будучи тяжелобольным, и где не выказывал тревоги, чтобы не обеспокоить ее. Привожу письмо:

«Дорогие родители!

Я каждый день думаю о том, как бы вы приехали навестить меня. Это было бы так прекрасно, ведь мы не были вместе столько времени. Я не рассчитываю побыть вместе в Праге, это только нарушит ваш домашний распорядок, но как замечательно было бы очутиться вместе где-нибудь в прекрасном уголке (я только не знаю, когда реально это может произойти), например провести

несколько часов во Франценбаде. И выпить вместе «добрый стакан пива», как вы и писали, из чего я мог заключить, что отец и не думает о молодом вине. Поэтому, что касается пива, я разделяю его мысли. В эту жару я часто вспоминаю о том, как много лет назад мы с отцом пили пиво, когда он брал меня с собой в общественные купальни.

Это и многое другое говорит за ваш приезд, но существует еще множество препятствий. Во-первых, отец не может приехать из-за трудностей с его паспортом. Поэтому поездка во многом будет лишена смысла. Что касается матери, то, если она приедет одна, кто будет ее сопровождать? Все будет возложено на меня, зависеть от меня, а я не в таком состоянии, чтобы должным образом уделять ей внимание.

О трудностях, с которыми я столкнулся в Вене, вы знаете. Они немного расстроили меня, в результате температура долго не спадала, и я стал еще слабее. Состояние моей гортани оказало на меня шокирующее действие – поначалу я испугался больше, чем того заслуживало реальное положение дел.

Сейчас я впервые приступил к работе, несмотря на слабость. Мне помогают Дора и Роберт – что бы я без них делал! Но, несмотря на замечательных помощников, хороший свежий воздух и пищу, на ежедневные воздушные купания, я еще не вполне поправился и нахожусь даже не в таком состоянии, в каком был в последний раз в Праге. Нужно принять во внимание, что я могу говорить лишь шепотом, причем немного, и для вас даже будет лучше, если вы отложите свой визит. Но мне начинает становиться лучше. Недавно профессор нашел реальное улучшение у меня в гортани, и его слова служат для меня большим утешением. Доктор – исключительно добрый и бескорыстный человек, он приезжает сюда каждую неделю на своем личном автомобиле и почти ничего не берет за это, его слова приносят мне великое утешение – и дела, как я уже сказал, начинают идти лучше. Но для начала необходимо, чтобы ко мне не приезжали гости – и особенно такие гости, как вы. Ваш приезд будет великим неоспоримым прогрессом, различимым даже невооруженным глазом, но лучше его отложить. Поэтому давайте отложим его ненадолго, дорогие отец и мать!

Вам не стоит думать о том, чтобы улучшить лечение, которое я здесь получаю. По правде говоря, владелец санатория – старый и больной человек, и он не может очень много заботиться о делах. Помимо здешних специалистов рядом со мной постоянно находится Роберт, который не отходит от меня, и вместо того, чтобы думать о своих исследованиях, он думает обо мне. Кроме того, здесь есть молодой доктор, которому я очень доверяю. Ко

мне три раза в неделю приезжает также д-р Эрманн, но не на автомобиле, а на поезде, а затем на «автобусе».

В понедельник (и, очевидно, во вторник утром) Франц работал над корректурой своей последней книги «Голодарь». Он давал указания изменить порядок расположения рассказов и был разгневан на издателя за то, что тот не последовал тем или иным указаниям. Однажды Дора очень точно сказала: «Он требовал уважения к себе. Если кто-либо относился к нему с должным уважением, все было нормально и он не придавал значения формальностям. Но если уважения не было, он очень раздражался». Среди ночи ему захотелось спать. В четыре утра Клопшток позвал Дору в комнату, поскольку Франц стал хуже дышать. Клопшток почувствовал опасность и позвал доктора, который сделал Кафке инъекцию камфары.

Затем началась борьба за морфий. Франц сказал Клопштоку: «Вы четыре года обещали мне его. Вы меня мучаете. Вы всегда меня мучили. Я так и умру». Ему сделали две инъекции. После второй он сказал: «Не обманывайте меня, вы даете мне противоядие». Потом он произнес слова, о которых я уже упоминал ранее: «Убейте меня, или вы будете убийцей». Ему дали пантопон, чему он обрадовался. «Это хорошо, но надо больше, больше, это мне не поможет». Потом он стал медленно засыпать. Его последние слова относились к его сестре Элли. Клопшток держал его за руку. Кафка, всегда ужасно боявшийся заразить кого-либо, произнес, вообразив, что он видит вместо Клопштока сестру: «Отойди, Элли, не так далеко, не так далеко» – и, когда Клопшток немного отодвинулся, сказал: «Да, вот так – так хорошо».

Перед этой последней сценой он грубым жестом отстранил сиделку. Клопшток сказал мне: «Он был резок, как никогда ранее». Затем Кафка порвал лежавший пакет с препаратами и швырнул его на пол. «Не мучайте меня больше, вы продлеваете агонию». Когда Клопшток отошел в сторону, чтобы вымыть шприцы, Франц произнес: «Не оставляйте меня». Друг ответил ему: «Но я не оставляю тебя». Франц ответил глухим голосом: «Зато я оставляю вас».

Хочу привести цитату из письма, написанного Клопштоком 4 июня и пришедшего из Кирлинга. Оно несколько сумбурно и не вполне верно построено грамматически. «Бедная Дора! О! Как мы все несчастны, кто так несчастен в мире, как мы! Она без конца шепчет: «Любовь моя, единственный мой». Она причитает: «Он один, совсем один, мы ничего не можем сделать и сидим здесь, и оставили его там[31] одного в темноте, непокрытого! О Боже!

Любовь моя!..» – и снова продолжает стенания. То, что с нами произошло, – я всегда говорю с «нами», мы – «маленькая семья Франца», – неописуемо и никогда не может быть описано. Кто знает Дору, тот может понять, что значит ее любовь. Если это понять, только возрастают боль и страдания. Но вы это поймете!.. Мы еще не вполне осознаем, что с нами произошло, но медленно, постепенно это становится для нас все яснее и яснее и в то же время покрывается зловещей тьмой. Сейчас мы снова собираемся посмотреть на Франца. Его лицо столь строго и неприступно, сколь чиста и благородна была его душа. Его лицо царственно строго, оно словно сделано из старого и благородного камня. Его неповторимая душа отражена теперь на его отвердевшем лице. Оно столь красиво, будто старинная мраморная скульптура».

Я должен в заключение прибавить, что голоса Х. Уолпола, Хаксли, Беннетта, Андре Жида, Германа Гессе, Бубера, Томаса Манна, Верфеля и многих других на немецком, французском, голландском, чешском, польском, итальянском, английском языках объединились, чтобы заявить о значении Кафки. Его творения появились на всех этих языках и снискали восхищение.

P.S. Я закончил первое (на немецком языке) издание этой биографии в 1937 г. Теперь, в 1947 г., сложно воспринять критическую литературу, относящуюся к Кафке. В этой литературе, исключая отдельные верные комментарии, – масса нелепостей и противоречий. Но само творчество Кафки сияет чистым светом и дает ориентир тем, кто интересуется этим автором или пишет о нем. Время от времени создается впечатление, что только внешние черты художественного метода Кафки могут быть воспроизведены или проанализированы, но только не его внутренние устремления, которые, возможно, остаются недосягаемыми для тех, кто так много пишет о нем и его творчестве. Если человечество хочет лучше понять, что представляли собой личность и творчество Кафки, оно должно стать на совсем иную позицию. Чтобы постичь Кафку и его творчество, нельзя ограничиться даже этой книгой.

Глава 8
Новые взгляды на Кафку

Немногие писатели имели такую же судьбу, как Кафка: оставаться почти неизвестным при жизни и после смерти быстро обрести мировую славу.

В случае с Францем Кафкой можно сказать, что судьба не обошлась с ним жестоко, поскольку он был крайне безразличен к славе. Писать было для него «своего рода молитвой» (как он писал в одном из своих дневников). Его усилия были направлены к внутреннему совершенству, к безупречной жизни. Его не заботило мнение окружающего мира, вернее, ему некогда было беспокоиться об этом. Он желал достичь высшего этического совершенства – вершины, которой, по правде говоря, редко можно достичь. Он был наполнен энергией, доходящей до точки боли и полусумасшествия, он не допускал в себе никаких недостатков, не позволял никакой лжи, никакого самообмана, ничего предосудительного в отношении своих товарищей, – эта страсть к совершенству часто принимала формы самоунижения, словно Кафка рассматривал свои слабости через микроскоп, во много раз увеличивавший их размер. Как он разочаровывался в себе из-за своей слабости, желая соединиться с чистым, божественным, что было выражено в афоризмах из «Неразрушимого». Этот идеал преобладал у него на протяжении всей жизни. В этом смысле Кафка близок к Толстому. «Человек не может жить без прочной веры в то, что в нем есть нечто неразрушимое», – этой фразой Кафка формулировал свою религиозную позицию.

После смерти Кафки было нелегко найти влиятельного издателя, который осуществил бы посмертное издание его трудов. Я посетил различные издательские дома для того, чтобы издать его произведения. Герхардт Гауптман написал мне, что, к несчастью, он никогда не слышал имя Кафки. Сегодня редко можно встретить выпуск литературного обзора в Германии, Франции, Англии, Америке или Италии, в котором не встречалось бы это имя.

Теперь, когда личность Кафки стала известна в мире, мы встречаемся с неизбежным искажением его образа. Однако мы уверенно можем пройти мимо этих явлений и найти опору для нашей веры в том «Неразрушимом», о котором говорил сам Кафка. Также мы уверены в том, что по прошествии времени другие работы Кафки сами создадут его образ во всей полноте, и тогда в различных мнениях об этом авторе возникнет согласие.

Несмотря на это, даже теперь есть правдивые и верные описания Кафки, что замечательно. Например, я недавно получил «Erinnerungen an Kafka» («Воспоминания о Кафке»), написанные другом Кафки (Фридрихом Тибергером, проживающим сейчас в Иерусалиме). Кроме того, Дора Димант[32], которая была спутником Кафки в последние годы его жизни, подробно рассказала о времени, проведенном ею с Кафкой[33]. Много из того, что она рассказала в течение своего кратковременного посещения Израиля, было записано Феликсом Вельтшем. Вдобавок у нас есть написанное Мартой Роберт о Доре и замечательная книга Густава Януша. Труд Януша имеет особую ценность благодаря тому, что там записаны разговоры с Кафкой.

Во вступлении к этой книге, в «Заметках» и «Объяснениях» Януш привел часть своей собственной истории, рассказал о происхождении «Разговоров с Кафкой» и о судьбах рукописей Кафки. Мне хотелось бы сообщить о том, как рукопись попала ко мне, и подчеркнуть, какую информацию мы получили о жизни Кафки периода начала марта 1920 г., когда Януш встретил его.

В мае 1947 г. – восемь лет спустя после того, как я покинул мою родную Прагу, – я получил письмо из этого города, которое начиналось так: «Не знаю, помните ли Вы меня. Я тот музыкант, о котором Вы писали в «Прагер тагблатт» незадолго до вашего отъезда, и тот, кто устраивал публикацию чешского издания «Метаморфоз» Франца Кафки». Автор письма спросил, может ли он послать мне «дневниковые записи о Франце Кафке», которые он пытался опубликовать. «Франц Кафка отождествляется у меня с моей юностью, и его образ вызывает у меня множество воспоминаний. Поэтому Вы можете представить мое волнение», – написал мне Януш в следующем письме.

Рукопись пришла после значительной задержки. После этого она долгое время лежала непрочитанной из-за моей перегруженности работой. В конце концов, моя секретарша, фрау Эстер Хоффе, которой я безгранично благодарен за участие в подготовке издания трудов Кафки, ознакомилась с рукописью. Она прочитала ее и сообщила мне, что это очень ценная работа. Затем я тоже прочитал рукопись и был поражен богатством изложенного в ней материала. В этих мемуарах живо воспроизведена манера Кафки говорить, его выразительная, но сдержанная жестикуляция, его мимика. У меня было чувство, будто мой друг внезапно вернулся к жизни и вошел в комнату. Я словно слышал, как он говорит, видел его оживленные, сверкающие глаза, ощущал его спокойную улыбку и был глубоко впечатлен его мудростью.

Вскоре после этого Дора Димант приехала в Израиль. Она

часто приходила ко мне, и в очередной ее приход я прочитал ей отрывок из рукописи Януша. Дора была потрясена так же, как и я. Она тоже узнала неподражаемый стиль Кафки и его образ мышления в приведенных Янушем разговорах. И ее охватило чувство, будто она снова встретилась с Кафкой.

Так ценность этого материала была подтверждена двумя людьми. Неожиданно появился третий человек. Мой друг Вилли Хаас издал «Письма к Милене» Кафки[34]. Эти письма лежали более двух десятилетий на Пражском почтамте. Я вообще не знал о них ничего. Теперь я прочитал эти письма. На мой взгляд, эти письма можно отнести к одним из лучших любовных писем всех времен, они займут место рядом с пламенными письмами Юлии Эспинасской. Несколько отрывков в этих письмах имеют отношение к блестящему молодому поэту Густаву Янушу, который преклонялся перед Кафкой, приносил ему свои первые стихи, вовлекал его в дискуссии – и это было достаточно хлопотно для Кафки, потому что его мысли и страсти в то время были направлены совсем в другую сторону. Все обстоятельства бесед, которые описывал Януш и которые, конечно, он видел только с одной стороны, содержали достаточную долю иронии, когда их рассматривали с другой стороны и в иной перспективе. Но это только подтверждало их подлинность.

Януш говорит в этой биографии о своем отце. В третьей главе я упоминал о том, что Кафка дружил со своими коллегами из Института страхования от несчастных случаев, «даже если они были стеснительны». Я упоминал о человеке, который был автором «Необыкновенного меморандума». Я нашел этот меморандум среди своих бумаг, и теперь он лежит передо мной. Меморандум начинается словами: «Nos exules filii Evae in hac lacrimarum valle». Эксцентричный автор был не кто иной, как отец Януша. В то время я был знаком с отцом, позже я познакомился с сыном. Благородная личность отца Януша и несчастная история его запутанной женитьбы эпизодически возникают на страницах книги Густава Януша, и рядом с мощной фигурой Кафки возникает еще один мучительный мотив. (Обратите внимание на высказывания Кафки об отце Януша в «Письмах к Милене».)

Период знакомства с Янушем для Кафки был отмечен отношениями с Миленой Есенской. Януш встретил Кафку в конце марта 1920 г. В дневниках Кафки отсутствуют записи с января 1920-го до 15 октября 1921 г. В первой записи Кафки от 15 октября 1921 г. говорится о том, что он отдал все свои дневники Милене. Возможно, он уничтожил ту часть, которая относилась к этой большой любви. После смерти Кафки Милена передала мне

дневники и рукописи его романов «Америка» и «Замок», которые хранились у нее. Записи Кафки о Милене (он обозначал ее в дневниках И.) содержались в той части дневников, которую я нашел в другом месте (в маленькой комнате в квартире, где временно жил Франц). Эти заметки относятся к маю 1922 г. Страстные отношения вскоре пришли к трагическому концу. У меня есть письмо, в котором он умоляет меня, чтобы я попросил Милену больше не приходить к нему.

Личные дела Кафки в пору его общения с Янушем шли не очень хорошо. Молодой человек этого не знал. Кафка говорил лишь намеками о печалях, которые его одолевали. Он говорил большей частью философскими терминами, словно мудрый наблюдатель, о мировых событиях, о борьбе наций и классов и о религии. Это свидетельствует о необычайном самоконтроле, присущем Кафке почти в любой жизненной ситуации, – за исключением случаев, когда он делал записи в дневнике или разговаривал с очень близкими людьми.

В речи Кафки, переданной Янушем, несомненно, угадывается его стиль. Он говорил даже более лаконично, более содержательно, чем писал. Кафка был абсолютно не способен сказать что-либо бессмысленное, ничего не значащее. Я никогда не слышал от него пустых фраз, даже когда он говорил о самых общих вещах. Для него просто не существовали банальности. Кроме того, он никогда не стремился к остроумным оборотам в стиле эпиграммы. Если он не мог сказать ничего значащего, то предпочитал молчать.

В первом варианте биографии Кафки я опустил весь период, связанный с Янушем. Милена жила в то время, и я посчитал себя обязанным хранить тайну. Между тем мы многое узнали о ней из книги Маргариты Бубер-Нейман «Als Gefangene bei Stalin und Hitler» («Узница Сталина и Гитлера»)[35]. Я узнал о силе духа и воодушевленности Милены, которые передавались тем, кто ее встречал, и о ее смерти в концентрационном лагере. Кафка указывал на то, что основной чертой ее характера было бесстрашие. (Дневник, 18 января 1922 г.) Кроме того, представление о Милене дают письма Кафки, адресованные ей, и эпилог Вилли Хааса, воздающий дань этой поистине великой женщине. В записках Януша также чувствуется влияние ее личности, хотя имя Милены никогда там не упоминалось. В этот период Кафка начал глубоко задумываться над еврейским вопросом, и, насколько можно понять из того, что он говорил Янушу, Кафка любил в Милене чешку-христианку – между прочим, две ее близкие подруги были замужем за евреями. Муж Милены также был евреем. Этот факт привел к тяжелому

конфликту Милены с отцом, известным чешским политиком-националистом. Кафка, попав в новое для него окружение, столкнувшись с вторжением в его сокровенное бытие и с необходимостью принятия важного решения, глубоко и тяжело размышлял о еврейском вопросе и пришел к его более глубокому пониманию.

После прочтения «Разговоров» Януша и «Писем к Милене» мне стало ясно, что эта тема является основой «Замка», этой чудесной баллады о бездомном страннике, который тщетно пытается обрести корни на чужой земле.

«Замок», помимо своего широкого значения, содержит еще и универсальную религиозную аллегорию, и этот биографический фактор не должен быть упущен из виду. В материале, представленном Янушем, мы находим ключ к его пониманию. Дальнейшее подтверждение я нашел в письмах Милены, в ее разговорах со мной, а также в своих собственных записях, относящихся к тому периоду жизни Кафки. В «Замке» со скептицизмом и горечью отражены отношения Кафки с Миленой. Реальные события, которые, возможно, спасли его от кризиса, приобрели особенно искаженные формы. Милена, представленная в романе карикатурной фигурой Фриды, предпринимает решительные шаги, чтобы спасти Кафку (К.). Она живет вместе с ним, занимается хозяйством и остается веселой и решительной, несмотря на бедность и самоотречение. Она хочет остаться с ним всегда и, посвящая ему свою жизнь, вернуть его к правдивой и естественной жизни. Но как только К. принимает протянутую ему руку, старые формальные обязательства, связывающие женщину, начинают напоминать о себе. («Замок» – это популяция, общество, но, кроме того, это и мистический Кламм, который является в основном преувеличенно-демоническим образом законного мужа Милены и от которого она в душе не может полностью освободиться.) Воображаемое счастье быстро подходит к концу, потому что К. не желает делиться половиной хлеба. Он хочет, чтобы Фрида принадлежала ему одному и больше не была подвластна эмиссарам из Замка, мистическому помощнику и Кламму. Однако она предает его и возвращается в царство Замка – туда, откуда пришла. Становится ясным, что К. более решителен в своем стремлении достичь истинного спасения. Она же ограничилась простым символом спасения, или, так или иначе, очень быстро рассталась с иллюзиями. В моем разговоре с Миленой выяснилось, что, как только она почувствовала в Кафке соперника своего мужа и поняла, что тот хочет на ней жениться, она встала на сторону интересов своей семьи.

Параллель между романом и жизненным опытом Кафки

можно провести еще дальше. Если мы сделаем это тщательно, то увидим, насколько сильно Кафка истязал и бичевал себя. В романе он представляет себя неким мошенником, который прикидывается, будто его пригласили занять определенную должность. Подруга Милены, которая советовала ей держаться подальше от Кафки, предстает в романе как видоизменяющаяся, превращающаяся в мистическую фигуру квартирная хозяйка, постепенно приобретающая черты мифологической Судьбы. Там, где это необходимо, она играет роль хора в греческой трагедии. Странная ревность и презрение Фриды к Ольге в романе могут быть рассмотрены как реальное отношение Милены к Дж. В., под руководством которой в то время работал Кафка. Как мы можем заключить из писем Милены, она настаивала на том, чтобы Кафка полностью порвал отношения с Дж. В. и ее семьей. Кафка послушался ее, хотя резкость и несправедливость Милены вызвала у него протест.

Отверженность семьи Ольги имела свое соответствие и в действительности. В «Замке» также можно найти много других реалистических блоков – они восхищают нас своей слаженной конструкцией, которая составляет высокое здание. Кроме прозаических фактов своей жизни, автор использует сумеречные, безграничные ресурсы своего воображения, которые составляют трансцендентальную ткань повествования. Мы не должны переоценивать значение биографических фактов в формировании всего произведения, но, если не отдать им должное, мы можем прийти к ложным заключениям.

«Замок» соединяет в себе мысли и чувства «Разговоров» и «Писем к Милене». Кафка работал над этим романом на протяжении 1921-го и 1922 гг. Впервые я услышал о нем 15 марта 1922 г., когда Кафка прочитал мне вслух большие отрывки из неоконченного романа. Мотивы, отраженные в книге, задолго до написания романа звучали в его дневниках (например, 11 июня 1914 г. «Искушение в деревне»). Атмосфера романа возникла под влиянием жизненного опыта Кафки, полученного в Цюрау в 1917 г. Я мог бы указать на связь между романом «Замок» и прелестной повестью Божены Немцовой «Бабушка», в которой фигурирует враждебный замок, возвышающийся над деревней. В письмах к Милене также есть упоминание об этой классической чешской писательнице. Это, однако, случайные факты. Образ замка мог уже существовать в воображении Кафки, но, во всяком случае, встреча с Миленой наполнила душу Кафки содержанием, побудившим его написать свой последний великий труд. Письма Кафки к Милене, ее письма ко мне и воспоминания Януша дают необходимые сведения о периоде жизни Кафки, на протяжении

которого он писал «Замок». Эти документы особенно важны, поскольку в дневнике Кафки отсутствуют записи, относящиеся к периоду написания романа.

Восемь писем, написанных мне Миленой, раскрывают ее отношения с Кафкой, представляя ее точку зрения. Они дополняют картину их любви, изображенную в «Письмах к Милене».

Первое письмо датировано 21 июля 1920 г. Оно, как и второе, было написано на немецком языке, которым она недостаточно хорошо владела. Третье и шестое письма, имеющие большое значение и раскрывающие ее страстную натуру, были написаны на изящном чешском. По мере того как ее отношения с Францем ослабевали, манера ее изложения становилась все более сдержанной. Так, два своих последних письма она вновь написала на немецком, в котором выражала себя более традиционно, чем тогда, когда писала на чешском языке.

Фрау Милена Есенская была превосходным писателем, причем среди ее родственников также были литераторы. Например, тетя, тоже Есенская, которая из-за своих чешских шовинистических взглядов вызывала в наших кругах неприязнь. С другой стороны, Милена была постоянным сотрудником либеральной пражской ежедневной газеты «Трибуна», созданной евреями, сторонниками ассимиляции и противниками сионизма. Долгое время статьи Милены печатались в этой газете каждое воскресенье. Я видел, как Кафка торопился к газетному киоску, чтобы посмотреть, нет ли в последних выпусках что-нибудь от Милены Есенской. Она писала обзоры венской жизни, светские хроники, делала репортажи и т. д. Кафка восхищался утонченным, живым стилем ее статей, которые он сравнивал с письмами и рассказами Фонтейна, одного из его любимых авторов. Он всегда читал мне вслух большие отрывки из этих ее статей. Должен признаться, что ни одна из них, столь высоко оцененная Кафкой, не запечатлелась в моей памяти. Вероятно, по моей вине. Кафка оценивал литературные достоинства произведений вне зависимости от своего отношения к автору. Его оценка была основана на реальных качествах творения. Его суждения о литературе всегда были острыми и очень оригинальными. Изредка он ошибался. Иногда он высказывал осуждающее мнение. Например, он вынес очень неодобрительное суждение о «Бедном Филлере» Грильпарцера в «Письмах к Милене», где писал об этой вещи как о «дилетантской и наигранной». На мой взгляд, этот комментарий был неоправданным и вступал в противоречие с его же восторженными отзывами о «Бедном Фидлере», звучавшими в

разговорах и в дневниках.

Переписка между мной и Миленой началась по поводу дела, которое на первый взгляд может показаться странным. Я слышал о несчастном, которого много лет держали в Велеславинском санатории для нервнобольных. У его семьи были причины для этого. Я хотел спасти его от заточения. Кафка сказал мне, что Милена однажды была в этом заведении и встретила там г-на Х. Поэтому я написал Милене, спросив у нее о Х. Я знал ее, но только по случайным встречам. Я встречал ее в компании Верфеля и поэта Поля Корнфельда. Она жила в Вене и была замужем за Эрнстом Поллаком, другом Верфеля.

Брак был несчастным. Эрнст Поллак, талантливый, многосторонне образованный, высококультурный философ (в области логики), широко известный как «Поллак-эксперт», умел производить необычайное впечатление на Милену и на других женщин. Интересно сравнить его с Кламмом в некоторых местах «Замка».

Я знал, что Милена вышла замуж за Поллака наперекор своей семье. Может быть, она находилась в Велеславинском санатории «благодаря» усилиям родных, желавших изолировать ее. В то время, когда Поллак сошелся с Миленой, у него были близкие отношения с другой женщиной из Вены – красивой, но не слишком интеллектуально развитой, которая внезапно вступила в связь с другим мужчиной или вышла за него замуж. После свадьбы Поллак не проявлял уважения к чувствам Милены, и она страдала от его безжалостности, но в то же время любила свои страдания. Она вынуждена была сама зарабатывать себе на жизнь и даже опускалась до того, что подрабатывала носильщиком на вокзале, чтобы не оставаться голодной. Ее родители-миллионеры, жившие в Праге, решительно отказались оказывать какую-либо поддержку своей «блудной дочери».

Когда Франц встретил Милену, она находилась именно в этом незавидном положении. На протяжении первой половины 1920 г. Кафка ездил на лечение в Меран. Когда он вернулся в Прагу, я с трудом узнал его – так радостно и возбужденно он говорил о днях, проведенных с Миленой в Вене. Он писал ей по нескольку писем в день и сам получал множество писем в ответ. Телеграммы летали туда и обратно. Как часто Франц умолял меня прийти к нему в Институт страхования от несчастных случаев помочь ему скоротать время в ожидании получения телеграммы от Милены. Я видел, что его здоровье, уже расшатанное серьезным недугом, стало опасно ухудшаться под влиянием этого стресса. Я говорил Милене, чтобы она помнила о его болезни и была к нему внимательна. Она отозвалась на мою

просьбу во втором письме. Тон первого письма был сравнительно спокойным и безличным. Главным обсуждаемым вопросом было дело господина Х. На самом деле оно относилось к Францу и освещало его человечность ярким светом, потому что именно он подвиг меня на спасение того человека. В те дни мы оба направляли усилия не только на решение своих проблем, но и на избавление от страданий третьего лица. Я до сих пор слышу эхо наших шагов в коридорах страховой компании. Обычно Франц проводил в канцелярии утро – и это было для него достаточно. Но сейчас он оставался там и после полудня в ожидании письма или телеграммы от Милены.

Первое письмо Милены ко мне начиналось словами:

«Дорогой мой доктор!

Вы просите меня привести доказательства несправедливости по отношению к г-ну Х., находящемуся в Велеславине. К сожалению, я могу вам представить лишь очень скудную информацию, соответствующую официальным источникам, хотя мне хотелось бы дать больше сведений. Я находилась в Велеславине с июня 1917-го по март 1918 г., проживала в том же корпусе, и единственное, что я могла сделать для несчастного, – это давать ему книги на время. В этом санатории ему было запрещено разговаривать с кем-либо, даже о пустяках и даже в присутствии дежурного наблюдателя. Если бы это было обнаружено, участники разговора были бы заперты на ключ, а дежурный – уволен бы».

Далее следует описание отчаянного положения находящегося в больничном плену человека. Там есть очень интересное суждение:

«Психиатрия – благодатная стезя для злоупотреблений. Каждое действие или слово пациента расценивается как ненормальное и служит орудием для мучителя. Я могла бы поклясться, что г-н Х. мог бы жить в других условиях, но не могу привести доказательств».

Мои усилия по спасению г-на Х. оказались тщетными. Но это было в дальнейшем. Последняя часть письма посвящена Францу, которого Милена обычно называла «Франк».

«У меня к вам большая просьба, доктор. Вы знаете, что я не могу жить, не зная, как дела у Франка. Он всегда говорит, что ему хорошо и что он очень здоров и спокоен. Поэтому, если вы

чувствуете, что он страдает из-за меня, напишите мне об этом. Я не сообщу ему, что узнала это от вас, и буду спокойнее, если вы пообещаете мне написать. Не знаю, как я смогу ему помочь, но знаю, что как-нибудь помогу. Франк говорит, что все должны «любить вас, гордиться и восхищаться вами». Заранее благодарна вам и полагаюсь на вас».

Я не стал скрывать, что состояние Кафки резко ухудшилось. 29 июля Милена снова написала мне:

«Я в самом деле очень встревожена. Я не знала, что болезнь Франка так серьезна. Здесь он чувствовал себя хорошо. Я не слышала, чтобы он кашлял. Он был оживлен, весел и хорошо спал.

Ты благодаришь меня, дорогой Макс, ты благодаришь меня вместо того, чтобы упрекать за то, что я не приезжаю к нему долгое время, сижу здесь и только пишу письма. Я умоляю тебя – умоляю еще раз: не думай обо мне плохо, не думай, что я делаю только то, что мне легко. Здесь я разрываюсь на кусочки, все приводит меня в отчаяние (только не говори Франку!), и я не знаю, что делать, куда пойти. Но ты написал, что Франку необходимо получать от меня весточки, слышать что-то хорошее – действительно, Макс, это величайшее счастье, какое только может быть. Франк должен определенно куда-то поехать[36]. Я сделаю все возможное, чтобы это произошло, и если не будет другого выхода, я сама приеду в Прагу, и мы выдворим его оттуда, не так ли? И я надеюсь, что в другом месте ему будет спокойно и хорошо. Я – должна об этом сказать – сделаю все, чтобы увидеть это своими глазами.

История моего замужества и отношений с мужем слишком сложна, чтобы говорить о ней теперь. Слова слишком мало значат. Но я все время ищу выход, ищу решение, ищу доброе и правильное.

Пожалуйста, Макс, поверьте, что я хочу облегчить Франку страдания. Поверьте, что для меня это важнее всего в мире.

Вы сейчас находитесь рядом с ним и должны написать мне, если есть о чем. Вы будете правдивы со мной, не так ли? Мне сейчас немного легче, поскольку я пишу вам и уже не нахожусь наедине с собой.

Пожалуйста, когда вы вернетесь, напишите мне о том, как организовать переезд Франка, и дает ли врач надежду на то, что ему станет лучше. Главное – он должен уехать оттуда, и он сделает это, непременно сделает.

Приношу вам благодарность. Я на самом деле безмерно благодарна вам. Ваше письмо имело для меня большое значение. Простите меня за то, что я называю вас Максом – Франк зовет вас

так, и я уже привыкла.

С наилучшими пожеланиями,

Милена Поллак».

В начале третьего письма говорится об одной из моих книг, которую Милена высоко оценила. Далее она продолжает (на чешском языке):

«Я потратила много дней и ночей, чтобы ответить на ваше письмо. Вы спрашиваете, как это Франк боится любви и не боится жизни. Но мне кажется, что дело обстоит совсем по-другому. Для него жизнь – это совсем иное, чем для всех остальных. Деньги, рынок товаров, иностранная валюта, пишущая машинка являются для него в высшей степени мистическими вещами (на самом деле так оно и есть, но только мы этого не ощущаем). Для него все это – загадка, к которой он относится совсем иначе, чем мы. Разве в его работе есть что-либо отличающееся от обычного занятия? Для него вся канцелярия – кроме его собственных обязанностей – нечто таинственное и замечательное, словно паровоз для маленького ребенка. Он не понимает простейших вещей. Вы когда-нибудь ходили с ним на почту? Он ходит от окошка к окошку, с трудом находит нужное, платит и получает сдачу. Он пересчитывает деньги и видит, якобы ему дали лишнюю крону, возвращает ее служащей. Потом медленно отходит, снова пересчитывает сдачу и уже перед выходом понимает, что крона, которую он отдал, не была лишней. Теперь мне приходится беспомощно стоять возле него. Он переминается с ноги на ногу и думает, как ему поступить. Возвращаться сложно – рядом с окошечком много народу. «Ладно уж», – говорю я. Он смотрит на меня с ужасом. Как можно не обращать на это внимание? Он страдает не из-за кроны. Это – незначительная потеря. Но как можно было допустить такое? Он долго говорит об этом, выражая недовольство. И похожие случаи повторяются в каждом магазине, в каждом ресторане, перед каждым нищим. Однажды он подал нищенке две кроны и захотел, чтобы она вернула ему одну. Она ответила, что у нее нет сдачи. Мы простояли там долгих две минуты, думая, как уладить ситуацию. В конце концов он смирился с тем, что подал ей две кроны. Но чувствовалось, что он был раздражен. И этот же самый человек без колебаний, с энтузиазмом, полный счастья, однажды дал мне двадцать тысяч крон. Но если бы я попросила двадцать тысяч и одну крону, и мы должны были бы разменивать деньги и не знали, где это сделать, тогда он бы был очень озабочен из-за этой лишней кроны. Его стесненность в отношении денег – почти такая же, как и стесненность в отношении женщин. Такие же страхи он

испытывает у себя на работе. Однажды я телеграфировала ему, звонила, писала, умоляла именем Господа приехать ко мне на день. В тот момент это было для меня необходимо. Я заклинала и порицала его. Оказалось, что он не спал ночи напролет, мучил себя, писал самоуничижительные письма, но не приехал. Почему? Потому что не мог отпроситься на несколько дней. Он не мог сказать директору – тому самому директору, которого обожал до глубины души (на полном серьезе!) за то, что он умеет быстро печатать на машинке. Он написал целое письмо о том, что никак не мог придумать тот или иной повод, чтобы отпроситься. Он писал с ужасом: «Как можно лгать? Солгать директору? Это немыслимо». Когда его спрашиваешь, за что он любил свою первую невесту, он отвечает: «Она умела хорошо работать»[37]. При этом его лицо начинает излучать явное уважение. О нет, весь этот мир был и остается таинственным для него. Мистической загадкой. Есть вещи, на которые он не способен, а относится к ним с уважением, потому что они «приносят результат». Когда я говорила ему о своем муже, который бывает неверен мне по сто раз в год и словно околдовал чарами меня и многих других женщин, на его лице было написано такое же почтение, как тогда, когда он говорил о своем директоре, умеющем так быстро печатать и поэтому являющемся замечательным человеком, или о своей невесте как о «умеющей хорошо работать». Все это ему несвойственно. Человек, быстро печатающий на машинке или имеющий четыре любовницы, непонятен для него так же, как непонятна монетка в одну крону, оставленная на почте или в руках попрошайки. Ему непонятны эти вещи, поскольку они живые. Но Франк не может жить. У него нет способности к жизни. Он никогда не поправится. Франк скоро умрет.

Мы приспособлены к жизни благодаря тому, что находим убежище во лжи, в слепоте, энтузиазме, оптимизме, в тех или иных убеждениях, в пессимизме и других подобных вещах. Но он не может скрыться ни в одном убежище. Он абсолютно не приспособлен к жизни, так же как не способен пить. У него нет ни малейшего прикрытия. Поэтому он открыт всему, от чего мы защищены. Он словно нагой среди множества одетых людей. Все, что он может сказать, – это то, что он сам, а также все, что его окружает, не может быть названо правдой. Более того, такое предопределенное состояние бытия внутри его и для него, лишенное всей своей отделки, поможет ему изменить жизнь – в направлении счастья или несчастья, не важно. И его аскетизм в то же время – какой-то негероический, но благодаря этому обстоятельству он становится все более и более возвышенным. Весь «героизм» – это ложь и трусость. Тот, кто прибегает к

аскетизму как к средству достижения конца, не ведет нормального человеческого существования; истинное бытие наступает тогда, когда человек приходит к аскетизму посредством ясности своего видения, чистоты и неспособности к компромиссу.

Бывают очень умные люди, которые не желают идти ни на какие компромиссы. Но они надевают розовые очки и видят все в другом свете. Поэтому им не нужны компромиссы. Они могут быстро печатать и иметь женщин. Он остается в стороне от всего этого и смотрит на это с изумлением, в том числе на пишущую машинку и на женщин, и одинаково на все удивляется. Он никогда не поймет этих вещей.

Его книги удивительны. Сам он еще более удивителен…

Очень благодарна вам за все. Смогу я обратиться к вам, когда вернусь в Прагу?

С наилучшими пожеланиями.

Всего самого доброго».

Следующее, недатированное письмо представляет собой крик отчаяния. Милена получила письмо Кафки из санатория в Татрах, в котором он писал о том, что порывает с ней отношения. Она цитирует из написанного ей: «Не пишите, и нам не стоит больше видеться».

Причина этого очевидна. Милена была готова сойтись с Кафкой, но не хотела покинуть своего мужа для того, чтобы постоянно жить с Кафкой. Кафка отказывался от этого суррогата брака, поскольку он рассматривал брак как священный венец жизни и считал, что брак – это общая судьба для всех – для мужа, жены и детей. Кафка ожидал необычного, чуда. Только чудо могло его спасти. Позже он увидел надежду в Доре Димант. Но Милена с ее земным характером не могла принести ему желаемого, несмотря на ее попытки. «Виновата я или нет?» – спросила она меня в полном отчаяния письме, в котором было так много неразборчивых строчек. Она хотела, чтобы я ответил: неужели она – лишь одна из тех женщин, которые не могут спасти Франца.

Вот это письмо:

«Дорогой доктор!

Простите меня за то, что пишу на немецком. Может быть, вы достаточно владеете чешским, чтобы понять меня. Я просто не знаю, что делать, – мой разум больше не может воспринимать никаких впечатлений, формировать какие-либо мысли. Я ничего не сознаю, ничего не чувствую. Мне кажется, что в эти последние месяцы со мной произошло нечто ужасное, но я этого не ощущаю.

Я вообще немного знаю о мире. Я только чувствую, что могу покончить с собой, если допущу до моего сознания то ужасное, что лежит вне его.

Я могла бы рассказать вам, как и почему это произошло, могла бы рассказать вам о себе и о моей жизни. Я держу в руках письмо Франка из Татр – убийственную мольбу – и вижу строчки: «Не пишите, и нам не стоит больше видеться. Прошу исполнить мою просьбу. Только так я смогу выжить». Я не отваживаюсь написать ему ни одного слова, не могу задать ни одного вопроса. Я даже не знаю, что хотела бы спросить у вас. Я даже не знаю, что хотела бы выяснить. У меня такое ощущение, словно виски вдавлены в мозг. Скажите мне просто одну вещь: виновата я или нет? Умоляю вас, ради Господа, не пишите мне успокоительных слов, не пишите, что никто не виноват, не нужно никакого психоанализа. Поверьте мне, я знаю все, о чем вы можете мне сказать. Я доверяю вам, Макс. Пожалуйста, поймите, чего я хочу. Я знаю, что представляет собой Франк. Я понимаю и вместе с тем не осознаю, что произошло, я на грани сумасшествия. Я пыталась действовать, жить, думать, правильно чувствовать, руководствоваться совестью, но все это было ошибочно. Конечно, я не знаю, можете ли вы понять меня. Я хочу понять, отношусь ли я к такому типу женщин, которые заставляли страдать Франка, и хотел ли он избавиться от страха передо мной. Была ли я виновата, или же дело в его натуре? Вы – единственный человек, который что-либо знает. Молю вас, ответьте мне абсолютно прямо, напишите правду, даже грубую правду – все, что вы думаете на самом деле. (Подчеркнуто тремя линиями.) Я буду вам очень благодарна, если вы мне ответите. Для меня это будет очень важно. Кроме того, не могли бы вы дать мне знать, как он? Я ничего не слышала о нем уже несколько месяцев. (Подчеркнуто двумя линиями.) Мой адрес: М. К., Вена VIII, почтамт 65, Бенногассе. Простите меня, я не могу переписать и перечитать это письмо. Благодарю вас.

Милена».

Следующее письмо написано в более спокойном тоне. В нем чувствуется уравновешенность, но очень велико внутреннее напряжение. Вот текст этого письма:

«Спасибо вам за вашу доброту. Я вновь способна мыслить. Это не означает, что мне стало лучше. Вы можете быть абсолютно уверены в том, что я не буду писать Франку. Как я смогу это сделать! Если это правда, что каждый человек должен выполнить свою земную задачу, то в отношении Франка я не выполнила этой

задачи. Как могу я быть такой нескромной, если не в состоянии помочь ему?

Я знаю, какой ужас он испытывает. Этот ужас существовал до того, как он встретил меня. За четыре дня, которые Франк был со мной, он потерял этот страх. Мы смеялись над этим страхом. Я точно знаю, что нет такого санатория, где он мог бы излечиться. Ему никогда не станет лучше, до тех пор, пока в нем живет этот страх. И нет в природе такой силы, которая могла бы одолеть этот ужас, поскольку он неподвластен никакому убеждению.

Этот ужас относится не только ко мне. Франк с ужасом относился ко всему, что было лишено стыда, например к человеческому телу. Плоть для него была слишком откровенна; он не мог на нее смотреть. В то время я могла рассеять его страхи. Когда его охватывал ужас, он смотрел в мои глаза, и мы затихали на некоторое время; наши ноги немели, а дыхание прерывалось – и вскоре все проходило. Не требовалось ни малейшего напряжения; все было просто и ясно. Я, например, выводила его гулять по холмам в окрестностях Вены; я шла впереди, потому что он двигался очень медленно – тяжело ступал вслед за мной, и когда я закрывала глаза, то могла представить себе его белую рубашку и загорелую шею, усилия, с которыми он двигался вперед. Он гулял дни напролет, вверх и вниз по холмам, на солнцепеке; и ни разу не кашлянул. Он поглощал страшное количество пищи и спал как убитый; он был нормально здоров, и в течение тех дней его болезнь казалась нам легкой простудой. Если бы я поехала с ним в Прагу в те дни, я осталась бы для него той, кем была. Но я слишком глубоко вросла в эту почву, беспросветно увязла в ней по колено. Я не могу оставить своего мужа, возможно, я слишком женственна и слаба, чтобы отдаться другой жизни, которая, я знаю, будет строго аскетична. Но вместе с тем во мне живет неугасимое и дразнящее желание другой жизни, от которой я ушла и, возможно, буду уходить всегда, – жизни с ребенком, жизни душа в душу. И возможно, эта слабость одержит победу над всем, что у меня есть, – любовью, желанием летать, способностью восхищаться – над всей моей жизнью. Вы знаете – что бы об этом ни сказали, будет одна только ложь. То, что сказала я, – наименьшая ложь. Но все равно уже поздно. И вот моя внутренняя борьба вышла на поверхность, и это испугало его. Потому что именно с этим он боролся всю жизнь, только с другой стороны. Со мной он должен был обрести спокойствие. Но это преследовало его даже со мной. Против моей воли. Я знала, что скоро должно было произойти то, на что нельзя было бы закрыть глаза. Я была слишком слаба, чтобы совершить единственный шаг, который – я знала это – помог бы ему. В этом моя вина. И вы

об этом знаете. То, что вы называете ненормальностью у Франка, является его основной чертой. Женщины, которые были с ним в прошлом, были обычными и не могли жить иначе, чем просто как женщины. Я считаю, что все мы больны, а он – единственный человек, который правильно видит и чувствует, единственная чистая натура. Я знаю, что он сопротивляется не жизни, а только определенному образу ее. Если бы я осталась с ним, он был бы счастлив со мной. Но только сейчас я это поняла. В то же время я – обычная женщина, как и все земные женщины, маленькая женская особь, ограниченная инстинктами. Отсюда его ужас. Мог ли этот человек что-либо неправильно чувствовать? Он знает о мире в десять тысяч раз больше, чем все остальные люди на свете. Этот ужас понятен. И вы ошибаетесь: Франк не напишет мне о своем согласии. Он ничего не сможет мне написать. У него не найдется ни единого слова, чтобы сказать мне об этом ужасе. Я знаю, что он любит меня. Он слишком хорош и чист, чтобы перестать меня любить. Если бы это произошло, он почувствовал бы себя виноватым. Он всегда считает себя виноватым и бессильным. И нет другого такого человека во всем мире, который так безудержно стремился бы к совершенству, чистоте, правде. Я чувствую всем моим существом, что это так. Только не могу достаточно полно это осознать. Когда это придет, будет страшно. Я мечусь по улицам, сижу у окна всю ночь напролет; очень часто я чувствую, что мои мысли искрятся, будто нож о точильный камень, а сердце внутри словно подвешено на рыболовном крючке; вы представляете – на очень тонком маленьком рыболовном крючке, и он колет меня, и я ощущаю очень острую, режущую боль.

Что касается моего здоровья, то я уже потеряла все силы, и если что-то еще поддерживает меня, то это помимо моей воли. Но иногда у меня невольно появляется любовь к жизни. Недавно где-то на другом конце Вены я вдруг пошла через железнодорожные пути – вообразите себе вытянутые на многие мили рельсы, красные огни, локомотивы, виадуки, товарные поезда – все это напоминало жуткий черный организм. Я села неподалеку и почувствовала будто какое-то дыхание. Я подумала, что могу сойти с ума от горя, от страстно желаемой и страшной любви к жизни. Я одинока, словно немой, и если я говорю с вами так, а не иначе, то это потому, что слова извергаются из меня, вырываются против моей воли, потому что более я не могу молчать. Простите меня.

Я не буду писать Франку, не напишу ни строчки и не знаю, что из этого выйдет. Весной я поеду в Прагу и свяжусь с вами. И если вы будете время от времени мне писать, как у него дела, – я

не могу отучить себя от привычки ходить каждый день на почту, – то я буду очень довольна.

Еще раз спасибо.

М. П.

Еще одна просьба, довольно смешная. Мои переводы «Процесса», «Метаморфоз», «Кочегара», «Наблюдений» будут опубликованы Нейманом – издательство «Червень» (июнь [*чеш.*]).

Теперь я покончила с этим – в последние месяцы это разрушало мой разум и душу. Это было ужасно – работать над его книгами, но Нейман хочет от меня, чтобы я написала «несколько слов для чешской читательской публики». Господи, как я буду писать об этом для народа? Да у меня просто нет такой возможности. Не могли бы вы сделать это? Не знаю, могли бы вы не выражать политических взглядов – «Червень» коммунистический, но сами книги не тенденциозны. Нейман был бы очень рад опубликовать книгу, но на ней будет ваше имя, – не будет ли это вас беспокоить? Если нет, то я прошу вас написать несколько страниц – я переведу их и включу в предисловие. Я однажды прочитала одну вашу вещь – введение к Лафоргу – очень, очень хорошая работа. Хотите сделать это для меня? Я была бы так вам благодарна. Книга должна быть издана в наилучшем виде. Перевод сделан хорошо. И ваше введение непременно будет хорошим. Если у вас нет политических пристрастий, сделайте это для меня. Конечно, нужно написать что-нибудь содержательное для чешского читателя. Пишите будто не для публики, а для себя, словно то предисловие к Лафоргу. Когда вы пишете с любовью, то у вас получается очень искренне и проницательно. Хотелось бы, чтобы это было сделано как можно скорее. Макс, сделайте это, пожалуйста, для меня. Я очень хотела бы представить миру эту книгу настолько полно и хорошо, насколько это возможно. Я чувствую, что должна встать на защиту чего-то справедливого. Поэтому – пожалуйста.

Ничего не говорите Ф. Мы преподнесем ему сюрприз – хорошо? Может быть, это доставит ему некоторое удовольствие».

В переписке между мной и Миленой наступила долгая пауза. Не могу припомнить, была ли вскоре опубликована книга, переведенная Миленой, и каково было вступление. У меня не осталось ни экземпляров книги, ни вступления к ней. Другое вступление, упомянутое Миленой, относится к переводу «Пьеро» Жюля Лафорга, мы писали его вместе с Францем Блеем, оказавшим значительное влияние на Кафку и на раннюю поэзию Верфеля.

Привожу шестое письмо Милены:

«Дорогой мой доктор!

Простите меня за столь запоздалый ответ. Я в первый раз встала с постели только вчера. Мои легкие дошли до предела. Доктор дает мне лишь еще несколько месяцев, если я немедленно не поеду куда-нибудь. Тем не менее я собираюсь писать моему отцу.

Если он вышлет мне денег, я поеду, правда, пока не знаю куда. Однако вначале я, конечно, поеду в Прагу и свяжусь с вами, чтобы узнать что-либо определенное о Франке. Я снова напишу вам, когда приеду. Но, пожалуйста, очень вас прошу, ничего не говорите Ф. о моей болезни.

Не имею представления, когда появится книга – очевидно, зимой. Она будет опубликована К.Ст. Нейманом в издательстве «Борови» – «Borovy Publishers», в серии «Червеня», Стефенгассе, 37. Вероятно, вы можете его спросить, нельзя ли опубликовать вступление отдельно, до того, как появится книга. Это потребует мало денег и бумаги, а все занимает так много времени. Я ничего не хочу вырезать из вашего вступления (оно так чудесно).

У меня такое впечатление, словно я вам чем-то надоела. Не знаю, почему у меня создалось такое впечатление. Простите меня за «анализ» Франка. Это постыдно, и мне неловко, что я позволила себе этим заниматься. Я чувствую, что мне необходимо обхватить голову ладонями, чтобы она не разорвалась.

Спасибо за все, и auf Wiedersehen[38].

Ваша *М. П.*».

Два последних письма Милены относятся к первым месяцам после смерти Кафки. Кафка в последнее время мало встречался с Миленой. Он провел с ней четыре дня в Вене, и у них была довольно неприязненная встреча в Гмунде, которая привела их ко взаимному отчуждению. В «Замке» Кафка показывает, что согласие между двумя возлюбленными длится недолго, и мы читаем о том, что происходит после первой ночи любви: «Он был слишком счастлив, держа Фриду в объятиях, и вместе с тем его терзала тревога, потому что ему казалось, если от него уйдет Фрида, он потеряет все, что у него есть». Вскоре начались трудности, перемежавшиеся лишь редкими проявлениями взаимного доверия. Что касается второго раза, когда Фрида и К. были близки, то в четвертой главе (в самом начале) звучит ужасное проклятие. Я уже говорил, что история любви, развивающаяся в романе, представлена как горькая карикатура. Реальность была более великодушна и милостива, чем ее отражение. В романе Кафка был вынужден поставить под

сомнение и очернить свои собственные чувства. Жизнь же дала Кафке те моменты счастья, которые сияли со страниц его первых писем, она дала ему письма Милены (к несчастью, утраченные) и восторженный вскрик благодарности. Крах отношений случился в период между «четырьмя днями» и временем их второй близости. Вероятно, и позже Милена навещала Кафку, но это были малозначительные встречи. Когда Кафка рассказывал мне об этих визитах, он говорил, что они расстраивали его и причиняли боль, хотя по-прежнему он высоко ценил то благотворное влияние, которое на него оказывала Милена. Встречи в Мариенбаде, о которой говорит Хаас в эпилоге к письмам Милены, на самом деле не было. В дневнике от 29 января 1922 г. говорится о встрече с Ф. в Мариенбаде в июле 1916 г.

Надеюсь, что читатель почувствовал страстность натуры Милены в приведенных мною письмах. Эти письма в сочетании с письмами к ней самого Кафки имеют огромную ценность. Другие документы, непосредственно относящиеся к этому периоду, отсутствуют.

Вот два последних письма ко мне (написаны на немецком):

«Дорогой доктор!

С благодарностью возвращаю вам книгу. Простите меня, пожалуйста, за то, что не повидала вас. Я думаю, что едва ли стоит сейчас говорить о Франце, и вам конечно же тоже не хочется говорить о нем со мной. Если вы позволите, я дам вам знать, когда отправлюсь в Прагу в сентябре. Передайте, пожалуйста, мои наилучшие пожелания вашей супруге, с которой я однажды обошлась, возможно, несправедливо, хотя вовсе этого не желала. Если можете, сделайте так, чтобы мои письма к Францу были сожжены. Я доверяю их вам. Его рукописи и дневники (в которых вовсе не идет речь обо мне, они были написаны, когда он не знал меня, приблизительно пятнадцать солидных записных книжек) находятся в моей собственности и, если нужно, могут быть предоставлены в ваше распоряжение. Таково было его желание: он просил меня не показывать их никому, кроме вас, и сделать это только после его смерти.

С наилучшими пожеланиями,

Ваша *Милена Поллак».*

«27 июля, 1924

Дорогой доктор,

Я не могу приехать в Прагу, чтобы передать вам рукописи, хотя мне хотелось бы сделать это. Я не нашла никого, кому могла бы их доверить, и поэтому посылаю записные книжки почтой. Я

отложу поездку в Прагу на октябрь. Тогда я вам лично кое-что передам. Я прошу вас также взять мои письма у семьи Кафки. Это было бы очень любезно с вашей стороны. Сама я не хотела бы просить их ни о чем.

Я очень, очень вам благодарна – полагаю, что увижу вас после 1 октября. Если вы не намереваетесь оставаться в это время в Праге, пожалуйста, пишите мне в Вену, когда вернетесь из Италии. С искренними пожеланиями,

Милена Поллак».

С той поры я много разговаривал с Миленой и получил от нее рукописи Кафки.

Было бы крайне неверно пытаться анализировать Кафку с точки зрения обычной психологии. Следующий факт, о котором я узнал всего лишь несколько лет назад, подтверждает это.

Весной 1948 г. музыкант Вольфганг Шокен, живший в Иерусалиме, написал мне о сенсационном факте – о том, что Кафка дал жизнь сыну. В качестве свидетельства он показал мне письмо одной дамы, М. М., которая была с ним в тесной дружбе. В 1948 г. ее уже не было в живых, и ребенок ее уже более двадцати лет как скончался. Особая трагичность ситуации заключалась в том, что Кафка даже не подозревал о существовании мальчика, который умер в семилетнем возрасте раньше самого Кафки. Мать мальчика, очень гордая женщина, свободомыслящая и самостоятельная, вскоре прекратила отношения с Кафкой. Я немного знал фрау М. М., но у меня не было мысли о том, что между ней и Кафкой могла быть дружба. Я полагал, что отношения между ними были скорее враждебными. В дневнике Франца есть записи, говорящие об этом. Во всяком случае, М. М. была необычайно умной персоной, она была удачлива, обладала большой силой воли и необычайной широтой взглядов.

Если бы Кафка узнал, что у него есть сын, это произвело бы на него колоссальное воздействие. Это оказало бы на него благотворное влияние. Он страстно хотел иметь детей и сомневался в том, может ли стать отцом. Каждый, кто читал его дневники, замечал отрывки, в которых Кафка выражал свое желание стать отцом и сидеть у колыбели собственного ребенка. Исполнение этого желания подтвердило бы его ценность с точки зрения высшего суда. Он бы чувствовал себя облагороженным, потому что всегда воспринимал свою неспособность иметь детей как нечто позорное, как некий обвинительный приговор, произнесенный над ним. Возможно, что ребенок благодаря неусыпной заботе Кафки был бы сильным и здоровым; возможно, у Кафки появилась бы уверенность в себе, и это спасло бы ему

жизнь; возможно, мой друг сидел бы сейчас рядом со мной, а я не писал бы, обращаясь в вакуум. Но этого не случилось, и следует признать, что жизнь сама сочинила историю, которая потрясающе похожа на бушующие жестокости и сложности, на иронические горести, присутствующие в произведениях Кафки.

Фрау М. М. приезжала в Прагу посетить могилу Кафки. Тогда она снова встретила в Праге Шокена. Много позже, 21 апреля 1940 г., она отправила ему письмо (в то время она была во Флоренции, а он – в Израиле), содержащее следующие строки: «Вы были первым, кто видел меня в Праге, когда я была подавлена и меня мучили страхи. Потом музыка в вашем исполнении в неприбранной комнате вашего друга и короткие прогулки по чудесному городу, который я люблю больше, чем вы подозреваете, помогли мне избавиться от этих тяжелых переживаний. Я посетила могилу человека, очень много для меня значившего, умершего в 1924 г. Его величие ощущается и по сей день. Он был отцом моего мальчика, внезапно умершего в Мюнхене в 1921 г., когда ему было семь лет. Вдалеке от меня и от него, с которым я рассталась во время войны и больше не видела никогда – кроме нескольких часов, – потому что он заболел роковой болезнью на своей родине, вдалеке от нас. Я никогда никому не говорила об этой истории и сейчас рассказываю о ней первый раз. Моя семья и знакомые не знали об этом. Знал об этом только мой последний начальник. Поэтому он был так добр ко мне. Я много потеряла, когда этот добрый человек умер в 1936 г. Но теперь я не так страдаю оттого, что умерли мои друзья, поскольку они смогли избежать ужасов настоящего времени». В течение многих лет только в такой особой манере фрау М. М. говорила о Кафке и его работах, и мой информатор был убежден, что приведенный отрывок из этого письма мог относиться только к Кафке. Вскоре в Италии началась война, и переписка между М. М. и Шокеном прервалась.

Посещение Праги прошло в пору захвата власти нацистами в Германии. М. М., которая жила в Берлине, неспроста испытывала страх. Она уехала в Швейцарию, в Израиль и, в конце концов, в Италию[39]. Последнее, что написал Шокен, касалось момента, когда немцы увели М. М. из больницы Британского Красного Креста. Запись датирована 16 мая 1945 г. В письме говорится: «Немцы забрали г-жу М. М. из С. Донато ди Комино, Фросиноне, в мае 1944 г. вместе с другими евреями, проживавшими в округе. Мы сожалеем о том, что в настоящее время уже ничего нельзя сделать». В дальнейшем стало известно, что М. М. умерла от рук немецкого солдата, который бил ее прикладом винтовки по голове. Я последовал по пути, который предложил мой

информатор. Этот путь привел меня к некоторым людям во Флоренции из пансионов «Сан-Джорджио» и «Дженнингс-Риччиоли». С их помощью я смог получить сведения о месте, в котором должно было находиться множество писем Кафки. Макс Крелл, писатель, живший во Флоренции, дал мне ключ к их поиску, но из этих усилий ничего не вышло. Возможно, письма Кафки принадлежат теперь некой (некоему) Е. Пр., добывшему для М. М. визу для эмиграции в Чили.

Мы никогда не смогли узнать ни имени мальчика, который был сыном Кафки, ни обстоятельств его жизни и смерти. Немногие оставляют о себе столь скудные сведения, как этот ребенок.

Я хотел представить афоризмы Кафки как отдельную область его творчества. Они раскрывают особые характерные черты автора. В них Кафка делает упор на «неразрушимое» в человеке, на веру и доверие к Господу. В прозе Кафки, с другой стороны, выражаются его сомнения и неуверенность. В больших творениях он показывает, как человек теряется и сбивается с пути. В афоризмах он, напротив, выражает мысль, что человек не может запутаться и что путь его определен. Конечно, мы не можем искусственно разделить два видения, которые одновременно выражал Кафка. Среди его афоризмов можно встретить такие, в которых чувствуется печаль и замешательство. С другой стороны, в его романах и рассказах встречаются проблески надежды среди безнадежности. Можно сказать, что Кафка в своих афоризмах скорее помощник и учитель, тогда как в своих рассказах и новеллах он больше жертва сомнений и мучительных раздумий. Возникает вопрос: почему в этих двух жанрах проявляются разные настроения одной души? Можно на это ответить, что в повествовании, письмах и дневниках Кафка давал свободу своим ангелам и демонам. В размышлениях, афоризмах и некоторых письмах он сдерживал себя и свои побуждения. Он больше не был средоточием трагических и абсурдных сил, он занял противоположную позицию, утверждая окружающую его вымышленную или реальную универсальность. В этом настроении он мог писать решающие строчки, в которых свобода человека выступала против механистической судьбы, а молитва – против проклятия. Он хотел воззвать к человечеству, чтобы оно прекратило «Александровы битвы», и открыть ворота в новую эру мира. «Несмотря на то что вы, бессловесные, маршируете с опустошенными душами, доверяете страшной дикости, мы не покинем вас, даже если вы охвачены величайшей глупостью». Сквозь хаос и нигилизм, показанные Кафкой, мягко, но решительно звучат ноты любви к человеческому созданию,

которое, «несмотря ни на что», не будет покинуто. В этом состоит божественная сила. Да будет на то благословение!

Приложения

Хронологическая таблица

1883. Родился в Праге 3 июля.

1893 – 1901. Учился в немецкой государственной гимназии.

1901. Начал учиться в Немецком университете в Праге. Некоторое время находился в Мюнхене.

1902. Планы на обучение в Венской академии экспорта (Export Academy). Начало переписки с Оскаром Поллаком. Лето в Либохе (Шелезене).

1905 – 1906. Лето в Цукмантеле. 1 апреля 1906. Неоплачиваемый стажер в канцелярии д-ра Ричарда Лёви, пражского юриста.

1906. Июнь. Получил степень доктора права. Проводил лето в Триеше со своим дядей, сельским врачом (д-ром Зигфридом Лёви). 1 октября 1906 – 1 октября 1907. Практика в пражском суде до 1907. Написаны рассказы «Описание борьбы» и «Приготовление к деревенской свадьбе». Другие юношеские работы (утеряны).

1907. Октябрь. Устраивается в «Assicurazioni Generali».

1908. Начинает работать в Институте страхования рабочих от несчастных случаев.

1909. В издательстве «Гиперион» опубликованы две главы из «Описания борьбы».

Сентябрь. Находился в Риве и Брешии с Максом и Отто Брод.

1910. Начал вести дневники. Общение с актерами из труппы Еврейского театра. Октябрь. В Париже с Максом и Отто Брод.

1911. Деловая поездка в январе и феврале (Фридланд, Рейхенберг). Летом. Поездка в Цюрих, Лугано, Милан и Париж с Максом Бродом. Затем Кафка находился один в санатории (санаторий Фелленберга) в Эрленбахе, недалеко от Цюриха. Путевые дневники.

1912. Начало работы над романом «Пропавший без вести» («Америка»). Лето в Веймаре с Максом Бродом, затем в Юнгборне в горах Гарц. Встречает Ф. Б. 13 августа. 14 августа посылает рукопись «Наблюдений» в Издательский дом Ровольта. Пишет «Приговор» и «Метаморфозы».

1913. Издание «Наблюдений» Ровольтом (в январе). В мае был опубликован «Кочегар». Занимается садовыми работами в Трое неподалеку от Праги. Едет один в Вену, Венецию, Риву.

1914. Берлин, конец мая. Помолвка. Собирает материал для «Замка» (дневник, 11 июня). Поездка в Геллерау, Любек, Мариенлист (частично вместе с Эрнстом Вейсом). Начало войны. Дополнительные обязанности на фабрике двоюродного брата.

Расторжение помолвки. Работа над романом «Процесс». Написан рассказ «В исправительной колонии».

1915. Снова встречается с Ф. Б. Работа над «Процессом». Поездка в Венгрию с сестрой Элли. Премия Фонтейна.

1916. В июле находился в Мариенбаде с Ф. Написан ряд рассказов из «Сельского врача».

1917. Проживание на улице Алхимиков, затем в Шёнборнском дворце. Дальнейшая работа над «Сельским врачом». Вторая помолвка в июле. 4 сентября. Выявлен туберкулез. Снимал помещение в Цюрау со своей сестрой Оттлой. 12 сентября. Оставляет работу в канцелярии. Изучение Кьёркегора. Афоризмы. Декабрь. В Праге расторгает вторую помолвку.

1918. Цюрау, Прага, Турнау, Шелезен. Написаны «Великая Китайская стена» и «Всадник».

1919. Куртом Вольфом опубликован сборник рассказов «Сельский врач». Отношения с фрейлейн Юлией Вохрыцек (Шелезен). В Праге написано «Письмо отцу». В Шелезене жил вместе с Максом Бродом. Опубликован рассказ «В исправительной колонии».

1920. Меран. Отступление болезни. Знакомство с Миленой Есенской (в Вене). Возвращение на работу в Прагу. Прибытие в Прагу 5 июля. В конце года находился в горах Татры (Матлиари). Знакомство с Робертом Клопштоком.

1921. Татры, Прага.

1922. Шпиндлермюле. В феврале возвращается в Прагу. 15 марта вслух читает «Замок». Май. Последняя встреча с Миленой. С конца июня в Плане с сестрой Оттлой. Прага.

1923. Июль в Мюритце. Знакомство с Дорой Димант. Берлин. Шелезен. Конец сентября – с Дорой в Берлине и в Штеглице. Зехлендорф. «Нора», «Жозефина» возможно, «Изучение собаки». Четыре рассказа из сборника «Голодарь» отданы в печать (издательство «Шмиде»).

1924. В Берлине до 17 марта. Прага. Отъезд в санаторий «Винер-Вальд» 10 апреля. Лечился в клинике профессора Гаека в Вене. Затем находился в санатории в Кирлинге, неподалеку от Вены, с Дорой Димант и Робертом Клопштоком. Скончался 3 июня. Похороны в Праге.

1952. Смерть Доры Димант в Лондоне (август).

Резюме (автобиография Кафки)

Приведенные ниже сведения были опубликованы печатным органом страховой компании, в которой работал Кафка, и приведены здесь с любезного разрешения автора, д-ра Джузеппе Стефани. Статья под названием «Franz Kafka, impiegato delle Generali» («Франц Кафка, служащий Assicurazioni Generali») появилась в декабре 1952 г., была напечатана в Триесте, где размещалось управление этой компании. Помимо теплой оценки творчества Кафки, в ней есть некоторые интересные биографические моменты. Мы знаем, что Кафка приступил к работе в «Assicurazioni Generali» 2 октября 1907 г. и в соответствии с заведенным порядком тогда же написал свое краткое резюме. Фраза «юридическая практика» относится к году неоплачиваемой практики, которую проходили в Австрии некоторые начинавшие юристы. Такие «стажеры» работали секретарями, делопроизводителями и помощниками следователя и делили свое время между уголовным и гражданским судами.

Из статьи Стефани мы также узнаем, что перед тем, как устроиться в «Assicurazioni Generali», Кафка прошел медицинское освидетельствование, и было признано, что он – «хрупкого сложения, но здоров». Он был худощав и шести футов ростом. Меньше чем

через год, 14 июля 1908 г., состоялся повторный медосмотр, на котором было установлено, что у него имеется неустойчивость психики и «повышенная чувствительность сердца», вследствие чего ему следует оставить должность. Как впоследствии оказалось, это заключение не было воспринято всерьез. Кафка желал оставить службу у частного лица и перейти в полуправительственный Институт страхования рабочих от несчастных случаев, где работать было значительно легче. Он хотел как можно деликатнее отказаться от предыдущей работы. Кроме того, между его дядей, находившимся в Мадриде, и руководством Института страхования существовала родственная связь. При таких обстоятельствах было бы самым мудрым решением сослаться на свое здоровье.

РЕЗЮМЕ

Я родился в Праге 3 июля 1883 г. До четвертого класса посещал начальную школу Альтштадтер, а затем поступил в немецкую государственную гимназию Альтштадтера. В возрасте восемнадцати лет начал учиться в университете Карла-Фердинанда в Праге.

После сдачи последнего государственного экзамена я поступил в контору адвоката Ричарда Лёви. Устроился в данное учреждение 1 апреля 1906 г. в качестве стажера. В июне, после сдачи устного экзамена по истории, получил степень доктора права.

Согласно договоренности с адвокатом я поступил в контору сроком на 1 год для прохождения стажировки. У меня никогда не было намерения заниматься юридической практикой, поэтому, вступив на эту стезю, я оставался на ней до 1 октября 1907 г.

Д-р Франц Кафка

Некоторые замечания о «Замке» Кафки

«Искушение в деревне» – такие слова есть в дневниках Кафки. Видимо, их можно рассматривать как начало подготовки к крупному роману. В этом романе показана трагедия человека, который хотел жить в деревне среди людей, но не мог пустить корни в чуждой ему среде и найти путь в «замок», являвшийся главным объектом в деревне. Приведенная выше запись в дневнике была сделана в 1914 г., тогда как роман был начат не ранее 1917 г. Атмосфера почти безнадежной изоляции, фатального недоверия и отсутствие понимания со стороны жителей деревни ощущаются на протяжении всего романа. Очень показательна в этом отношении реплика одного из жителей деревни. Он говорит жене: «Я подошел на минуту. Хотелось бы мне знать, зачем этот человек пришел сюда. Его никто не знает. Он бродит здесь непонятно зачем. Надо держать ухо востро!» После чего главный герой отвечает: «Я ищу гостиницу, вот и все. Ваш муж не имеет права так разговаривать со мной и навязывать свое ложное мнение». Немного погодя женщина мягко произнесла: «Он слишком много говорит». Тем не менее ясно, что деревенские жители настороженно относились к чужаку.

Недавно, перечитав этот фрагмент, я подумал о влиянии на роман Кафки «Замок» повести «Бабушка» чешской писательницы Божены Немцовой. Ее влияние на Кафку, насколько я знаю, осталось незамеченным.

Божена Немцова родилась в 1820 г. и скончалась в 1862-м. Ее основное произведение, «Бабушка», – идиллическая повесть, написанная с мастерской простотой, – использовалось в пражских немецких гимназиях как пособие для изучения чешского языка. Там Кафка и ознакомился с замечательной повестью, искренним и правдивым повествованием о деревне у подножия Ресенбирге. Я тоже прочитал эту повесть в школе годом позже и почувствовал к ней такую же любовь.

Интересно, что если одаренная чешская писательница нарисовала картину крестьянской жизни в северо-восточной Богемии, то один крупнейший немецкий писатель дал портрет крестьян из Богемского леса на юго-западе, показал их старые добрые обычаи, народные традиции и религиозные обряды. Я имею в виду Адальберта Штифтера. Возможно, Штифтер и Божена Немцова ничего не знали о творчестве друг друга, хотя были современниками и имели духовное родство, например в любви к уединенным лесным далям. Немцова в своем творчестве и

изучении фольклора была пламенным приверженцем оживавшего чешского национализма, что, однако, не мешало ей обожать такие произведения немецких авторов, как «Риттер фон Гейсте» Гучкова, и приводить цитаты из этой книги на немецком языке в своей повести «Бабушка». Австрийские власти считали ее мужа и знакомых опасными революционерами и обращались с ними соответственно. Что касается Штифтера, то он не участвовал в политических сражениях и лишь скромно протестовал против репрессивного режима. Несмотря на все различия, у этих двух писателей, несомненно, есть сходные черты. Оба они ищут возможности жить просто и правильно, в соответствии с духовными принципами.

Особенно Кафка любил письма этой страстной и красивой женщины, имя которой производило огромное впечатление на патриотов и приверженцев чешского языка в Праге. Ее несчастливое замужество, страстная любовь ко всему национальному, нежная забота о детях, восторги и печали, бурная жизнь сильно контрастировали с ее до некоторой степени старомодной манерой писать. Все это вызывало у Кафки понимание и симпатию. Он часто читал мне ее письма, которые, насколько мне известно, не были переведены с чешского языка, хотя они представляют собой важное свидетельство борьбы, происходившей у нее в душе.

Можно сказать, что г-жа Немцова была для Кафки одним из важнейших авторитетов. Кафка был подвержен влиянию и других авторов. Он пишет об этом с признательностью в своих дневниках. Например, он испытывал благодарность к Диккенсу за то, что его «Дэвид Копперфильд» оказал влияние на его роман «Америка». На мой взгляд, он слишком далеко заходил в признании своей «зависимости». В случае с «Замком» он, казалось, не следовал традициям никаких других произведений. Однако некоторые элементы «Замка» удивительно похожи на элементы «Бабушки» – повести, которая произвела на него глубокое впечатление. В своих письмах к Милене он постоянно делает ссылки на автора этой повести.

Простые люди из «Бабушки» Немцовой живут в деревне и не имеют доступа к владельцу замка. В замке говорят по-немецки, а в деревне – по-чешски. Одно это создает отчуждение. Вдобавок герцогиня, которой принадлежит деревня, лишь изредка бывает в замке. Обычно она уезжает в Вену или в Италию. По рассказам бабушки, в ее молодости был эпизод, когда среди изумленного сельского народа появился император Иосиф II. Он возник словно комета из отдаленных миров. Герцогиня, которой принадлежит деревня, – мягкая и просвещенная правительница такого же типа,

как и Иосиф II. Но между ней и крестьянами (и здесь аналогия «Замку» Кафки проявляется еще сильнее) стоит зловещая свора слуг, чиновников, эгоистичных, пустых бюрократов. Герцогиня оказалась отрезанной от народа. Вопреки своему желанию, она остается недоступной, неосведомленной. Только главной героине повести, бабушке, удается пройти сквозь препятствия. Она в конечном счете смогла добиться справедливости для преследуемых – то же самое постоянно хочет сделать герой «Замка», но все время не может этого достичь. В повести Немцовой чувствуется вера в торжество «хорошего человека», ее нет у авторов нашего, рожденного кризисом поколения.

В описании персонажей, занимающих положение между крестьянами и владельцами замка, иногда встречается потрясающее сходство. В обоих произведениях деревенские гостиницы находятся в центре общего внимания. В «Бабушке» покой нарушает молодой итальянец, который волочится за красивой дочерью хозяина деревенской гостиницы и делает ей неприличное предложение, в романе Кафки господский слуга ухаживает за Амалией. Примечательно, что у Кафки слуга носит итальянское имя – Сортини, единственное такого рода имя в романе. Курьезным сложностям, связанным с Сортини, было уделено много внимания. Многое станет ясно, если мы сравним этот эпизод с источником его возникновения, а именно с чешским романом. В нем также девушка отвергает грубые домогательства чиновника из замка, но она слишком слаба, чтобы сделать это должным образом; она боится последствий этой истории, репрессий, которые может устроить этот богатый и влиятельный человек. Манера, в которой она излагает суть дела своей бабушке, очень похожа на описание подобного эпизода у Кафки, особенно в самом начале. Процитирую несколько предложений, которые произносит девушка в повести «Бабушка»:

«Вообрази себе, этот итальянец каждый день приходит к нам за пивом. В этом нет ничего дурного, каждый может зайти для этого в гостиницу. Но вместо того, чтобы сидеть за столиком, как подобает приличному человеку, он пристает ко мне. Куда бы я ни пошла, он всюду за мной. Мой отец делает сердитое лицо, но вы его знаете, он добряк, мухи не обидит, он не любит обижать посетителей, особенно если они из замка».

Кажется, что в «Замке» достаточно ясно слышатся те же истины. Это сходство часто встречается на последующих страницах чешской повести. Например, когда Кристель раскаивается в том, что совершила проступок с самыми лучшими намерениями. Или когда она обсуждает попытку подкупить господского слугу: «Это – наша единственная надежда. После того

как они услышали его оправдание, они могли бы ему помочь, но часто так бывает, что они слышат и не помогают. Они лишь кратко отвечают, что помочь невозможно, и с этим придется смириться». Не перекликается ли это с важным мотивом романа Кафки, заставляющим трепетать наше сердце при мысли о необъяснимой, непредсказуемой и несговорчивой власти? Это особое мистическое мнение Кафки, которое не чуждо реалистическому творчеству Немцовой. Кафка отметил эту мысль, читая повесть «Бабушка» еще в юношеские годы. Он превратил эту деталь в могучий принцип. В повести Немцовой хозяйка появляется очень редко. В романе Кафки высшего правителя не видно вовсе. В этом различии и заключается особая значительность. Невидимый правитель – нечто большее, чем человек.

Рудольф Фукс
Воспоминания о Франце Кафке

Я не могу вспомнить, когда произошло мое первое знакомство с Кафкой. Полагаю, что я познакомился с ним зимой 1912 г. В ту пору мы, молодые писатели, имели свой столик в кафе на углу Гибернерской и Пфластерской улиц. Кафка время от времени сидел там с нами.

Он производил впечатление совершенно здорового человека. Казалось, что он старательно избегал болезней. Как-то жарким днем он шел со мной по старой Эйсенской улице. Я остановился у лотка с прохладительными напитками и выпил лимонада, предварительно обтерев рукой край стакана. Кафка неодобрительно посмотрел на меня. «Это тебе не поможет», – произнес он.

Как-то ночью мы были в гостях у Вейнберга. Дело было зимой, стояли ужасные холода. Кафка пришел в легком пальто. Верфель стал критиковать его за то, что на нем такая легкая одежда. Кафка ответил, что он зимой купается, и обрадовался, увидев, что остальные поддержали его с дружеским весельем. Один Верфель посмеялся над тем, что Кафка так много заботится о своем теле. Я вспоминаю, как мы стояли после этого на Вейнбергском виадуке. Кафка снял брюки, и мы увидели в морозную ночь его голые икры.

В то время я жил на очень шумной улице, это был дом на углу Стефанской и Герстенской улиц. Я очень страдал от этого шума. Не было никого, кто понял бы мои страдания лучше, чем Кафка. Напротив дома была трамвайная остановка, здесь же стояла гостиница, рядом с ней находился сад, где летом до глубокой ночи громко играл оркестр. Из ночного кафе доносились звуки механического органа. За стеной жил портной, у которого была скоротечная чахотка. Его жена играла на пианино. Мы прожили в этой квартире семь лет. Мне было трудно работать, и я скверно спал. Кафка тоже плохо спал. Он рассказал мне, что в таких случаях у него возникали бессонница и головные боли, и пояснил, какого рода головными болями он страдает. Он говорил беспристрастно, не ожидая от меня никакого совета или сочувствия.

Он защищал себя от шума тем, что вставлял в уши вату, и настоятельно рекомендовал мне этот метод. Я последовал его совету, и до сих пор не могу заснуть, не заложив в уши вату. Однажды я увидел, что у него в уши были вставлены крошечные

подушечки. Полагаю, что это был подарок от женщины.

Кафку можно было часто встретить одного, гуляющего в пражских парках. Он нисколько не раздражался, когда к нему кто-либо присоединялся. Он, как правило, избегал разговоров о себе, но, если с ним о чем-либо говорили, он поддерживал разговор. Даже когда его мучила болезнь, он сохранял улыбку. Выражение его лица представляло собой загадку.

Кафка всегда был готов понять другого. Он с большим вниманием следил за жизнью и карьерой своих знакомых. Он был другом для многих, но немногим позволял быть своими друзьями. Я с благодарностью вспоминаю один случай. Мы встретились на Герренской улице. За день до того было опубликовано мое стихотворение в газете «Тагблатт». Оно называлось «Вилла в мирном уголке». Он похвалил его. Самому мне оно уже не нравилось, потому что было написано достаточно давно. Я осмелился выразить некоторое сомнение в подлинности его оценки. В ответ Кафка наизусть прочитал все стихотворение.

Когда его первая книга «Наблюдения» была напечатана Вольфом, он сказал мне: «Андре[40] (Andre) заказал одиннадцать экземпляров. Десять я купил сам. Не знаю, кто купил одиннадцатый». Он произнес это с улыбкой удовлетворения. От него нельзя было узнать, что он пишет в данный момент и насколько это представляется для него важным.

Однажды Вилли Хаас убедил его прийти на чтения пражских авторов в маленький лекционный зал гостиницы на Венцеславской площади. В тот раз Кафка читал рассказ «Приговор», который был затем напечатан Вольфом. Он читал с таким завораживающим отчаянием, что сейчас, когда прошло уже более двадцати лет, я все еще будто вижу его в узкой полутемной комнате. Обо всем остальном я, честно говоря, забыл.

Кафка был стройным, хорошо сложенным, красивым. О девушках он говорил лишь в общих словах. В 1917 – 1918 гг. я был в Вене. Кафка послал мне письмо с просьбой подыскать ему комнату в тихом отеле. Он приезжал из Будапешта. В Праге он уже намекал мне о том, что в Будапеште примет решение сохранить или расторгнуть свою помолвку. В Вене он сказал мне, что расторг помолвку со своей невестой. Кафка очень спокойно говорил об этом. Он пошел со мной в кафе «Центральное». Было уже поздно, и кафе было пусто. Казалось, что Кафка был всем удовлетворен.

Красивая молодая девушка в Праге сказала мне, что она написала Кафке множество писем. Она влюбилась в него. Кафка ответил ей спустя долгое время и предостерег ее от общения с ним.

Затем я видел Кафку незадолго перед концом его жизни. Он исхудал, говорил хриплым голосом, у него было затруднено дыхание. Даже холодной зимой он носил легкое пальто. На улице он показал мне, как свободно стало ему пальто и как удобно было его носить, потому что оно не сжимало его грудь при дыхании. В этом пальто он регулярно делал гимнастические упражнения.

Прошло еще несколько месяцев. Он уехал из Праги. Говорили, что ему стало совсем плохо. Приближался конец. Я получил от него еще одну телеграмму, в которой говорилось: «Если ничего не произойдет, я напишу вам в понедельник».

Его похороны. Часовня на еврейском кладбище в Праге. Длинная процессия. Молящиеся евреи. Убитые горем родители и сестры. Немое отчаяние его подруги, стоящей возле могилы словно изваяние. Пасмурная погода с редкими прояснениями. Честное слово, невозможно поверить, что в этом простом деревянном гробу находятся останки Франца Кафки, который только теперь приобрел настоящее величие.

Дора Геррит [41]
Краткие воспоминания о Франце Кафке

Кафка поправлял здоровье среди чудесных лесов и холмов, покрытых зимними снегами. Он жил на веранде маленького гостевого домика.

Он проводил много времени с оживленной молодой девушкой, чей возраст было трудно определить. Она сообщала ему множество интересных вещей общего характера, но никогда не говорила о себе. Однажды утром, увидев эту девушку, Кафка приветствовал ее словами: «Я мечтал о тебе! Одетая в просторную шелковую одежду с вышитыми красными сердечками, ты шла по длинной широкой дороге – и тебе встретился высокий, стройный, рыжеволосый человек. Он громко воскликнул: «Скажи мне, было ли у тебя когда-нибудь подобное?» Она улыбнулась в ответ и сказала: «Да, мной интересовались многие мужчины, но только в одном я увидела свою судьбу. Между моей влюбленностью и помолвкой прошло девять лет. За это время этот человек успел жениться и развестись, и когда он пришел ко мне, к любви своей юности, у него было двое детей. Это поэтическая аналогия, проведенная между твоей мечтой и моей судьбой. Не было ли у тебя предчувствия, что этот человек скоро забудется и через три месяца будет написано прощальное письмо?»

Однажды, позже, когда она уверяла Франца, что «Очерки Боза» Диккенса скучны, он превосходно прочитал ей несколько смешных строк из «Дэвида Копперфильда». Они оба смеялись, и с тех пор у нее изменилось отношение к Диккенсу.

Затем он дал ей стопку рукописей и попросил прочитать их и высказать свое мнение. Она прочитала «Сельского врача» – там, где говорилось о трудностях этой профессии. Он описал необычный случай внутреннего заражения. Вернув Францу рукописи, она сказала, что ее двоюродный брат умер от той же болезни, что и крестьянка в рассказе. «Это замечательно! – воскликнул Кафка. – Я никогда не слышал о том, что эта болезнь существует, но меня поражает мысль, что я правильно вообразил эту болезнь».

Он целый день лежит в шезлонге на свежем воздухе, завернутый во множество одеял, в надвинутой на лоб шляпе. Кто-то говорит ему: «О, какая на вас сегодня чудесная шляпа!» Он мягко улыбается и говорит: «Это скорее не летная, а «лежная» шляпа», – и смотрит по сторонам своими голубыми, со стальным оттенком глазами.

У Кафки была знакомая молодая девушка, отягощенная тяжелой душевной наследственностью и пустой жизнью своего беспечного окружения. Кафка предостерегал ее от такого образа жизни, говорил, чтобы она занялась какой-либо работой и стремилась достичь успеха своим трудом. После того как он уехал, она долгое время продолжала с ним переписываться и позже стала самостоятельным фермером.

Кафка знал одного ребенка, которого бранили за постоянную забывчивость. Он заступался за мальчика, говорил: «Может быть, у ребенка много интересных вещей в голове и он постоянно занят ими, тогда как поручения угнетают его и ничего для него не значат. Пусть взрослые обращаются к взрослым!»

Кафка умел во всем найти светлую сторону. Он искрился светом, словно чистое озеро в солнечный день.

notes

Примечания

«Христианский мир» *(нем.)*.

2

«Марсель Пруст, его жизнь и творчество» *(фр.)*.

3

«Его отец уходил по утрам, почти не видя сына. Мать… мягкая женщина… она заботилась о нем и прощала ему его фантазии, привычки, шалости!» *(фр.)*

4

Он также мало читал Ведекинда и Оскара Уайльда, но любил «Тонио Крёгера» Томаса Манна и с благоговением изучал строки этого автора в «Нойе рундшау». Он с восторгом читал Гамсуна, Гессе, Флобера и Кёстнера. Из его любимых авторов и произведений в последние годы жизни я могу назвать Эмиля Штрауса, Вильгельма Шафера, Каросу, «Маленькое сокровище» Хеббеля, Фонтейна, Гоголя, Стифтера, но более всего он ценил Гёте и Библию. О других авторах, которым оказывал предпочтение Кафка, вы сможете узнать на соответствующих страницах этой книги.

5

В ранний период нашего с Кафкой знакомства Франц писал готическими буквами, затем он стал использовать латинский алфавит. Его почерк в течение многих лет несколько раз видоизменялся. Готические завитушки, характерные для начала его жизни, соответствовали богато декорированному, округлому, блистающему, словно драгоценные камни, стилю его прозы. Красивым орнаментальным почерком написаны его ранние письма Оскару Поллаку. Использование Кафкой латинского алфавита относится к периоду его относительного спокойствия, зрелости и мастерства. Рукописи последних лет написаны легкими торопливыми буквами, будто стремящимися убежать от захлестывающего их вдохновения.

6

Тревожная совесть *(лат.)*.

7

Намек на раннее произведение Вассермана.

8

Напоминаю, что Кафка означает «галка», а Рабан похоже на немецкое Rabe – ворон.

9

Еще более сильное впечатление я получил, когда Кафка прочитал мне вслух свой рассказ «Поле битвы» (датировано в моем дневнике 14 марта 1910 г.). Наброски этой работы Кафка оценивал не очень высоко, и 18 марта 1910 г. он написал: «Дорогой Макс! Что мне больше всего нравится в этом рассказе – это то, что я хочу от него избавиться». Содержание рукописи, которую я взял к себе домой, потому что Франц хотел уничтожить ее, свидетельствовало о том, что она была написана в период семейных неурядиц и в то самое время, когда Франц учился в университете. После того как я более тщательно изучил свой дневник, я обнаружил, что это была не самая первая работа, которую показал мне Кафка.

Этот термин не существовал в то время. Сегодняшние сюрреалисты без оснований ставят Кафку в свои ряды.

11

Знаменитая книга воспоминаний Вильяма Кюгельгена.

12

Кафка брал уроки итальянского языка перед поездкой в Италию.

13

Мой короткий рассказ «Служанка».

14

Подстрочный перевод.

15

В начале этого предложения находилась строка, которую я не смог разобрать. *(Примеч. авт.)*

16

Институт страхования рабочих от несчастных случаев.

17

«Они на правильном пути… Да, – повторил он так же серьезно, – они на правильном пути…» *(фр.)*

18

Грустное сердце, веселый дух *(фр.)*.

19

Привожу несколько превосходных отрывков из вступления к дневнику. «Преимущество ведения дневника заключается в том, что автор таким образом наиболее четко осознает те перемены, которые с ним происходят, в которых он уверен и которые угадывает и допускает, но в то же время бессознательно отрицает, когда в них появляются проблески надежды и спокойствия. В дневнике автор находит доказательства тому, что он живет; сегодня обстоятельства жизни кажутся ему непереносимыми, но позже, когда он проходит тот же путь, который преодолел вчера, он гораздо мудрее смотрит на прошедшую жизнь, потому что может взглянуть на нее с высоты птичьего полета. Мы можем увидеть бесшабашное бесстрашие наших прошлых устремлений, когда мы упорствовали, несмотря на отсутствие у нас необходимых знаний». Читаем другой отрывок: «По дороге домой, после слов прощания, сожалею о своей фальши и скорблю о ее неизбежности. Цель: начать новую тетрадь, посвященную моим отношениям с Максом. То, о чем нельзя писать, мельтешит перед глазами, и оптические помехи определяют результат».

20

Когда Кафка писал в своем дневнике о литературных планах, он сделал пометку «Любовь к актрисе» и несколько фантазий о театре.

21

История еврейской литературы, Париж, 1911. Позднее была опубликована в Германии. В своем дневнике Кафка писал, что читал эту книгу «с таким вниманием, скоростью и удовольствием, с которыми никогда не читал книг подобного рода».

22

Имя «Фрида» пишется по-немецки Friede и имеет столько же букв, сколько Felice.

23

От *нем.* Felde – поле.

24

Санаторий недалеко от Праги.

25

«Бувар и Пекюше» – поздний роман Г. Флобера, персонажи которого пожилые холостяки.

26

Помология (от *лат.* pomus – фруктовое дерево, древесный плод и *греч.* oyos – слово) – наука, изучающая особенности сортов плодово-ягодных культур. *(Примеч. пер.)*

27

Он бывал в Праге в то время, но не постоянно, а короткими периодами. В 1919 г. он несколько месяцев жил в Шелезене, недалеко от Либоха, сначала – один, потом, зимой, – вместе со мной. Там началась вторая несчастная история любви и помолвки, но очень быстро окончилась. Он написал «Письмо моему отцу». Его пребывание в Меране в 1920 г. окончилось так же быстро, как и безуспешный любовный роман. Сохранилось много писем того периода. В ту зиму он пытался найти облегчение от своей болезни, которая становилась все более и более жестокой и приводила к острым кризисам, в горном санатории в Татрах. Там он подружился с доктором Клопштоком, который также лечился в санатории. Кафку мучил кашель, он страдал от высокой температуры и прерывистого дыхания – тот самый Кафка, чьи превосходно составленные фразы и изумительные предложения требовали глубоких вдохов. Этот же злой рок сделал глухими Бетховена и Сметану, а многих художников – слепыми, будто развившиеся столь совершенно органы не выдержали перегрузок и вышли из строя. О том периоде, когда Кафка писал «Замок», мне мало известно. В моем дневнике отразилась лишь дата его первого чтения вслух – возможно, это произошло вскоре после написания романа.

28

Намек на инфляцию марки, которая приучила берлинцев делить все показатели на огромный делитель, в соответствии с числовым индексом, объявляемым каждый день.

29

«Самозащита» (Selbstwehr – *нем.)* — орган сионистского движения в Праге.

30

В смертный час *(лат.)*.

31

В морге.

Скончалась в Лондоне в августе 1952 г.

33

См.: *И.-П. Ходин.* Воспоминания о Кафке. Берлин, 1949.

34

Нью-Йорк, 1953.

35

Известно, что М. Есенская погибла в нацистском концентрационном лагере. По имеющимся источникам неизвестно, была ли она заключенной при Сталине, как указано в заголовке. *(Примеч. пер.)*

36

Это относится к моим настоятельным просьбам, чтобы Кафка оставил работу и поехал в санаторий. Сам он собирался принять это решение не ранее конца 1920 г.

Эти слова написаны на немецком в оригинале. Со стороны Милены здесь видно полное непонимание. Из писем Кафки к Милене следует, что он прислал ей в то время «Бедного Фидлера» Грильпарцера. Он послал ей эту книгу, потому что Грильпарцер «смотрел на нас в парке сверху вниз… потому что он бюрократичен и потому что у него был роман с девушкой, которая умела хорошо работать». Кафка, конечно, имел в виду «бедную фидлеровскую девушку, честную и прямую, испытавшую все превратности судьбы». Кафка отзывается о ней со своим особенным ироническим восхищением, которое в глубине было настоящим чувством: «она умела хорошо работать». Первая невеста Кафки была такая же: не просто «умела хорошо работать» в обычном или уничижительном смысле, она вела простую, чистую, энергичную и активную жизнь. Другими словами, обладала качествами, которые Кафка оценивал очень высоко и которые, увы, ему были не присущи. Так, Кафка, ссылаясь на роман, говорил, что он имел в виду фидлеровскую «хорошо работающую» девушку. Милена, однако, упустила эту ссылку и поняла его слова в буквальном смысле. *(Примеч. авт.)*

38

До свидания *(нем.)*.

39

Другой информатор, не имевший отношения к Вольфгангу Шокену, подтвердил историю с ребенком Кафки. Ему говорила об этом сама М. М.

40

Знаменитый книжный магазин в Праге.

41

Напечатано в Богемии 27 февраля 1931 г. Автор мне неизвестен. *(Примеч. авт.)*